

ЙОН ХЕЛЛЕВИГ

ВСЁ – ТВОРЧЕСТВО

- социальной практике и толковании чувств.
- демократическом соревновании



Москва
ЗЕРЦАЛО
2009

ББК 71.0

Йон Хеллеви́г. Всё — творчество: О социальной практике и толковании чувств. О демократическом соревновании. — М.: Зерцало, 2009. — 240 с.
ISBN 978-5-8078-0175-3 (в пер.).

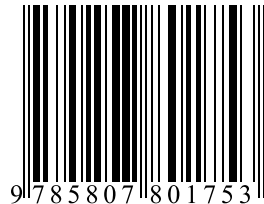
*Самое прекрасное, что узнает человек на земле,
Это любить и быть любимым.*

(Иден Ахбез. Дитя природы)

Перевод с английского Валентины Черняковой

Author's personal internet site: www.hellevig.net

ISBN 978-5-8078-0175-3



© Издательство «Зерцало», 2008

СОДЕРЖАНИЕ:

Вступлени е:
Язык есть толкование чувств / 5

Книга I
Всё — творчество:
О социальной практике и толковании чувств / 11

Книга II
Демократическое соревнование / 169

Библиография / 239

ВСТУПЛЕНИЕ:

ЯЗЫК ЕСТЬ ТОЛКОВАНИЕ ЧУВСТВ

По моему утверждению, суть языка, по большому счету, состоит в толковании чувств. Взяв за основу идеи Антонио Дамазио¹, я ставлю язык на высшую ступень развития биологической гомеостатической системы человека вслед за эмоциями и чувствами. С помощью языка человек стремится дать выход своей бесконечной потребности в толковании чувств. Следовательно, язык есть толкование чувств, и раз так, в нем нет ничего застывшего, определенного; процесс словообразования и словоизменения, накопления словарного запаса происходил и происходит произвольно для выражения чувств; единожды употребленные слова во все времена составляют платформу, основу дальнейшего развития языка, но при этом процесс его совершенствования протекает случайным образом, бессистемно, хотя неизменно отталкиваясь при этом от сложившегося словоупотребления, от социальной практики, улавливаемой языком. Наука же целиком строится на ошибочном представлении о том, что язык якобы может адекватно передавать знание. Бытует широко распространенное мнение о том, что в языке можно обнаружить некие истины, но ведь истина — в чувствах, а язык только служит инструментом выражения чувств,

¹ Я ссылаюсь на исследование эволюционного развития эмоций и чувств, построенное на идеях нейробиолога Антонио Дамазио, в своей книге Expressions and Interpretations. Our Perceptions in Competition — A Russian Case (2006). My Universities Press. (Выражения и толкования. Наши восприятия в состязании — взгляд на Россию.)

или, вернее, выражения интерпретации чувств, и это превращается в бесконечное стремление, в нескончаемый сюжет. Язык — это то, что отличает человека от животного, как в хорошем, так и в плохом.

По сути, язык представляет собой главную арену человеческого состязания; в сущности, все формы жизни являются просто разными восприятиями языковой практики, восприятиями под определенным углом зрения. И так, единство в многообразии — это не физическое единство, а скорее холистическая (целостная) сеть восприятий, сводящая все стороны человеческой жизни к языку, словам, разным аспектам чувств, к бинарному процессу боли и удовольствия.

Нужно выйти за пределы языка, чтобы осознать, что философские проблемы исчезают, — а ведь за пределами языка — наши чувства. С точки зрения науки чувства связаны с психологическими и биологическими проблемами, как бы мы их ни называли, но никак не с философскими.

Язык — это лишь внешнее выражение чувств, выражение их толкований; язык создает различные восприятия жизни, воздействующие на чувства, и чувства, воздействующие на восприятия жизни. Усвоив эту истину, мы осознаем, что «правильное употребление языка» заключается в толковании чувств, и при этом нет никаких присущих ему правил или чего-то в этом роде. Нет никаких правил, на которые мы можем сослаться, и ничего, что может направлять процесс осознания и понимания, есть только непрерывное состязание между бесконечными вариациями восприятий, складывающихся под влиянием чувств. С помощью языка мы можем только переходить от одного толкования к другому, и на этом пути не встречается никаких истин. А поэтому стоит рассматривать язык как метод. Это в основе своей рыночный метод, или метод состязания, открытая система, где одно выска-

зывание влияет на другое, — и так до бесконечности. И это все. И поэтому в собственно философии нет никаких правил, никаких законов, которые можно открыть и объяснить, поэтому в философии мы можем только указать на то, как употребляются слова, как они выстроены в наших предложениях и как язык порождает бессмыслицу и ведет к воцарению путаницы. Так что все, что мы можем делать, занимаясь философией, — это без усталости критиковать злоупотребление языком, показывать, когда высказывания лишены смысла.

Выражения в языке развиваются, отталкиваясь от человеческого опыта. В первую очередь в языке отображается все увиденное людьми. Самые главные слова и выражения возникают из простейших форм жизни, жизни, связанной с физической природой, природой вещей. Развитие языков недалеко ушло от описания самых элементарных предметов и явлений природы. Мы пытаемся выразить — испытываем потребность в выражении — сложных, тонких чувств языком, который годится только для описания физического мира вещей. Именно такое вот устаревшее использование вещных понятий для описания чувств расставляет ловушки в языке. В общении это заблуждение привело к катастрофической неудаче — значение оказалось перевернутым с ног на голову: защита превратилась в ненависть, любовь в обладание, вера в гонения, знания в суеверие, «демократия» стала знаменем войны, личность стала исключением, «ты» перешло в «вы», «я» в «мы», забота в отчуждение ... Тот, кто сочинил историю Адама и Евы, вкусивших плод с древа познания и за это изгнанных из рая, ухватил самую суть. Это проникновение в сущность того, как злоупотребление языком, — ибо плодом знания является язык, — употребление языка в отрыве от контекста становится развращающей силой, главной причиной невзгод — орудием

интриг, тщеславия, суеверия, обмана, мошенничества, массовой ненависти, войны. С помощью словесных ухищрений зло приобрело власть над невинными, подчинило себе естественные потребности людей в осмыслении вечности, мира и вселенной под вывеской своих «фирменных» религиозных верований.

Итак, в философии речь должна идти исключительно о языке. Старые надуманные проблемы философии — от Платона и через Канта и Гегеля до Маркса, которые ранее породили много философской чепухи, — просто исчезают. Так мы можем осмыслить, что такие области, как метафизика и игра формальной логики, оказываются отжившим свое родом занятий сродни алхимии, — иными словами, исчезает вся метафизика вместе взятая, за исключением ее стороны, относящейся к началу бытия, которую предпочтительнее оставить для религии.

КНИГА I

ВСЁ – ТВОРЧЕСТВО

О социальной практике
и толковании чувств

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Предисловие /	12
Всё — творчество, о социальной практике и толковании чувств /	14
Наука и искусство /	56
Всё — творчество /	66
Искусство и толкование чувств /	75
Эстетическое чувство боли и удовольствия /	80
Сознательное творчество (искусство) — чувство, видение и мастерство /	88
Символы /	95
Язык, язык, язык /	103
Курица или яйцо — что первично — язык или знание? /	113
Языковые тесты — симуляции /	115
Языком единым /	116
Витгенштейн versus Поппер — смысл versus бессмыслицы /	118
Язык вещей /	123
Право как социальная практика — правовая практика /	128
Клод Леви-Стросс /	141

ПРЕДИСЛОВИЕ

Как и все, я вел совсем неординарный образ жизни, и вдруг как-то мне в голову пришла мысль о том, что я должен все осмыслить и взяться за перо ...

И вот измученный, обессиленный, но довольный, я тружусь над книгой о социальной практике. Сама тема звучит несколько странно и скучновато, и гложет сомнение, что мне удастся вызвать у кого-то более живой и взволнованный отклик, чем она сулит. Но я не могу удержаться, не могу не писать. — Однажды кто-то из научных сотрудников спросил профессора из России: «Стоит мне написать книгу или нет?» Профессор ответил: «Если можете не писать, не пишите; если же не можете, то пишите». Тот же совет получил и я, прислушавшись к своему внутреннему голосу. Я должен писать.

Я ставлю перед собой цель найти объяснение и обоснование мысли о том, что *социальная практика* служит основой всего, что уже познано и что может быть познано человечеством. — На свете нет иного миропонимания и знания, кроме того, что заложено в наших традициях, в социальной практике, переходящей от одного народа к другому, передающейся из поколения в поколение посредством языка, с помощью языка и в языке. Социальные науки и философия, все сугубо человеческое¹ —

¹ Слово «человеческий» вызывает смысловые ассоциации с чувством духовного превосходства, доброты, добросердечия, великодушия, способностью видеть разницу между тем, что хорошо и что плохо. В этом, собственно, и кроется источник затруднений, фатальной путаницы, ибо людям все же пока не дано различать добро и зло. Человеческое начало проявляется через язык, а язык — поле битвы

основы познания и человеческое общество — является лишь отражением социальной практики, того, что делается и что сделано людьми.

Тому, кто согласится с этими идеями, придется отказаться от многих, если не от большинства, нынешних научных догм. Настоящая работа задумана как краткое изложение этих идей, иными словами, речь пойдет о *человеческом знании* и об обратной стороне медали — *человеческом невежестве*. И то, и другое воплощается в индивидуальных *толкованиях чувств* и в языке, отражающем *социальную практику*.

В отличие от академических традиций эта книга не перегружена ссылками на авторитетные источники прошлого и витиеватыми цитатами из трудов того или иного средней руки мудреца, ведь это — описание *научной реальности*, а посему бытующий в университетах стиль *социальной научной фантастики* здесь не годится. Правда, я могу добавить, что в книге «Выражения и толкования»¹, положенной в основу данной работы, с отсылкой к первоисточникам я дал описание и нашел документальное обоснование ментальной лестницы, по которой мне пришлось подниматься, путешествия вглубь себя к чувствам, к тем самым чувствам, которые предстают здесь со всей откровенностью. В большинстве случаев я ссылаюсь на идеи *эмпирической реальности* в изложении и трактовке, например, Давида Юма и Людвиг Витгенштейна. К тому же было бы невозможно составить перечень всех ссылок, поскольку в него вошло бы большин-

между болью и удовольствием, добром и злом. И наоборот, как раз животные, лишенные бремени человеческого языка, оказываются по ту сторону добра и зла.

¹ *Hellevig J.* Expressions and Interpretations. Our Perceptions in Competition — A Russian Case (2006). My Universities Press. (*Хеллеви́г Й.* Выражения и толкования. Наши восприятия в состязании — взгляд на Россию).

ство людей минувших веков и наших современников, которые более или менее сознательно, — а чаще неосознанно, — внесли свой вклад в приобретение опыта, в социальную практику именно так, как я это описываю. — Напротив, на протяжении всей истории человеческой мысли, как это ни прискорбно, славу и признание получали, конечно же, самые причудливые идеи и те, в чьем воображении они родились; тем же, кто отметал эти идеи, попросту живя своей жизнью, как она есть (и иногда даже активно заявляя об этом во всеуслышание и выказывая свое неприятие), не нашлось места в науке (в научном мире знаменитостями являются только мастера, творящие в своем собственном излюбленном жанре социальной научной фантастики). И, тем не менее, неприятие какой-то идеи — точно такая же идея, как и исходная ошибочная формулировка. Это неприятие, как и любые другие человеческие поступки, находит отражение в социальной практике. — Я присоединяюсь к огромному большинству тех, кому во все времена выпало быть критиками и цензорами, наперебой отвергавшими любые господствовавшие на тот момент идеологии, или, иначе говоря, *предрассудки тех дней*.

ВСЁ — ТВОРЧЕСТВО, О СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ И ТОЛКОВАНИИ ЧУВСТВ

Искусство ради искусства. Искусство — грандиозная лаборатория человечества. Искусство ради искусства является единственным истинным средством исследования пределов того, что можно познать, это штурм границ немислимого, непостижимого. Поэтому прорыв в искус-

стве, прорыв в выражениях — это прорыв в науке, и это единственное, на что мы можем рассчитывать в смысле прогресса.

Социальная практика. Всё человеческое, все стороны человеческой жизни формируются в социальной практике и отражаются в ней, в человеческом общежитии. Что считать добром и что считать злом — всецело дело социальной практики. Социальная практика представляет собой совместную деятельность людей, а знания, идеи, наука — всего лишь отражение этой практики. Она реализуется в языке, являющемся высшим проявлением всех видов социальной практики. Язык возникает благодаря усилиям одного человека и множества людей, — нашим усилиям, — направленным на выражение чувств, исследование возможностей выразить свои чувства, свои мнения, добиться понимания.

Выражения и толкования. В конечном итоге, человеческая жизнь суть толкование собственных чувств, происходящее в контексте социальной практики. В социальной практике каждый человек черпает мысли и образы, ловит отзвуки и отголоски жизни других людей в прошлом и настоящем. Эти отражения проникают в тело, там они перерабатываются, именно там, в своем теле, человек истолковывает то, что переживает в действительности. Затем эти истолкования выплескиваются наружу, во внешний мир и далее обретают свое выражение в языке. Посредством выражений каждый человек, в свою очередь, вносит свой вклад в развитие социальной практики, свою посильную лепту в нескончаемые размышления о вечности, в выражения и толкования.

Знание. Знание — это продукт, созданный в извечном общении одного человека с другими людьми, в контакте с прошлым и настоящим: знания создаются через выражения и толкования, словно по мановению невиди-

мой руки. — Это понимание того, что у отдельно взятого человека мы не можем найти, да и не стоит искать, знание и интеллект. — У отдельных людей нет того богатства, которое мы можем назвать интеллектом или знанием. Мы можем воспользоваться только интеллектом, который находит свое выражение в социальной практике.

Язык, человек. Язык составляет основу человеческого общества. Без сомнения, животное способно мыслить без языка, но без языка оно не способно к *социальному* мышлению, — социальное и есть человеческое, и всё человеческое является продуктом языка, язык является единственным условием существования общества. Человек — существо социальное, и таким его делает язык.

Человек, социальное. В этой книге о социальной практике и толковании чувств речь идет о взаимосвязи между *отдельным человеком и обществом*, иными словами, о социальном, о нашей жизни в сообществе. Ведь реально *существуют* только *люди, индивидуумы, социального* не существует, не существовало и никогда не будет существовать. *Социальное* — всего лишь понятие, используемое для обозначения общей жизни и общего наследия человечества. *Социальное* — это восприятие, взгляд на то, что делается совместным трудом и стараниями отдельных людей, объединенных благодаря социальной практике, благодаря языку, ибо *в действительности существуют* только отдельные люди, индивидуумы. С другой стороны, реальная жизнь каждого человека обусловлена жизнью в обществе, так сказать, заполнена знаниями, информацией, которые аккумулируются в языке и которые, в свою очередь, оказываются отражением (и только отражением) былых времен и приобретенного поколениями опыта, т.е. общественного бытия. Всё, о чем мы думаем, закодировано, и я бы сказал, *заколдовано* в языке. И именно язык является той силой, что движет людьми, заставляет мир вращаться, проходя круг за кругом ...

Слияние двух крайностей — внешнего и внутреннего. Исходя из восприятия языка как толкования чувств, а знания как социальной практики, мы замыкаем круг между двумя крайностями, отталкиваясь от которых, человечество пыталось осмыслить, что же управляет жизнью на Земле: верой во внешние сверхъестественные силы и силу внутреннюю. **Таким образом, философия социальной практики и толкования чувств — это соединение двух крайностей мировосприятия — внешнего и внутреннего: представлений, бытующих с незапамятных времен, представлений о внешних силах, божествах, ведающих жизнью и дающих каждому свою долю знания, — и — представлений, связанных с поиском источников внутреннего происхождения знания: «души», «сознания», «разума».** Все это слова, изначально отображающие человеческие способности, т.е. внутренние возможности и способность мыслить и поступать, как человеческое существо, затем, однако, вылившиеся в искаженном научном мышлении в обозначение некоей сущности, якобы пребывающей внутри тела, но отдельно от него, например, представление о «душе», которая может отделяться от тела при смерти, — а иногда, как полагают, и раньше, — и вселяться в другое тело; или «разуме», расположенном в мозге человека и почитаемом как вещь, физический орган, которого при всем том никто никогда не видел. Но сейчас, благодаря этой новой философии, мы можем понять, что *внутреннее* — это не «разум», не «сознание», не «душа», — ничего такого, что можно усвоить по лингвистической аналогии с природой, — а лишь *биологический процесс, приведенный в действие через бинарное противоборство боли и удовольствия, предконечным проявлением которого являются чувства.* Именно те самые чувства, которые так жаждет выразить человек творческий — *homo artisticus*.

Теперь нам ясно, что *внешние силы* — это лишь отражения, сжатые представления об *извечном взаимодействии*

между всевозможными выражениями и всевозможными толкованиями. Мы усвоили, что выражения и толкования образуют традиции, социальную практику, в которой определяется, что такое хорошо и что такое плохо, что считать знанием и что нет. И еще мы усвоили, что высшей формой проявления внешнего служит язык, отражающий существующее равновесие между всеми видами социальной практики. — А также мы усвоили, что *язык*, высшая форма внешнего, одновременно является и высшей формой внутреннего, *конечным проявлением внутреннего мира*, выражением чувств и переживаний, кроющихся глубоко внутри человека (это наш язык вещей, наш способ выражать себя словами, предназначенными для описания вещей и природных явлений; язык, который, по сути дела, только бледная имитация, слабый отголосок того, что всем нам хочется высказать). Значит, язык есть то, что связывает одного человека с другими людьми, внутреннее с внешним, чувства с выражениями, а также создает человека из биологической плоти и костей. — Мы усвоили, что внешнее и внутреннее находятся в постоянной привязке друг к другу, где одно подпитывает другое. И нам становится ясно, что в человеческом обществе все сводится только к этому, к выражению чувств и их толкованию. Нам становится ясно, что знание — это не внутреннее свойство, не нечто, привнесенное извне, а просто отражение человеческих устремлений и усилий — всего человеческого, слишком человеческого.

Толкование чувств, сновидений и грез — жизни. Фрейд хотел толковать сновидения. Но почему нас должно больше волновать толкование сновидений, чем иных сторон жизни? Нам же приходится истолковывать целый мир, целую жизнь, нам действительно приходится истолковывать бытие в целом, то есть свои чувства. — При попытке

толковать сновидения мы по-прежнему пребываем в порочном круге, оказавшись в ловушке, расставленной языком. В сновидениях, — как и в грезах, в повседневной жизни, — сознание населяют те же образы, которые предстают перед нами, когда мы бодрствуем, и которым мы, проснувшись, придаем некий смысл. Ошибочно полагать, что нам удастся проникать в смысл символов глубже во сне, чем в состоянии активности. В сновидениях мы по-прежнему удерживаемся на поверхности, подобно серферу, подхваченному волнами, которыми ему не дано управлять, но по гребню которых он может скользить до тех пор, пока не упадет, тогда его смывает волна... и тут, когда он почти уже тонет, мы просыпаемся.

Психоанализ и творчество. Единственной надеждой на обеспечение крепкого ментального здоровья, как индивидуального, так и коллективного, является то, что наш язык меняется и поднимается на новый уровень с тем, чтобы мы могли найти подлинное выражение своим чувствам. Но эта задача не под силу одному человеку, никому в отдельности не дано приблизиться к такому языку, речь может идти только о движении вперед целых поколений. Ключ к открытию *языка чувств* находится в творчестве, в выражениях, которые мы исследуем и приспособляем для общения между людьми в искусстве, занимаясь творчеством во всех его проявлениях. Искусство ради искусства сродни испытательной лаборатории по раскрытию тайн превращения чувств в выражения, в язык. В *сознательном* творчестве художники, подобно первопроходцам, освещают путь в потаенный мир чувств, и именно они несут во внешний мир все богатство выражения. — Очевидно, что искусство ради искусства является важнейшим видом человеческой деятельности. По сути дела, ни один эксперимент во имя приближения к недостижимому не является более научным, чем иску-

во ради искусства. В своем стремлении добраться до недостижимого, дойти до предела, предела, который нам не дано преступить, все, на что мы можем уповать, — это раздвинуть границы недостижимого.

Боль и удовольствие — творчество и биология. Обсуждение искусства и эстетического чувства возвращает нас к физическому, биологическому, к человеческому организму, где в извечном противоборстве между болью и удовольствием рождаются чувства и создаются непрерывно меняющиеся представления о добре и зле. Искусство — отражение этого никогда не прекращающегося поединка бинарных противоположностей боли и удовольствия, сущности бытия, того, что дарит жизнь и уносит жизнь; бинарный поединок затрагивает все стороны жизни — от мельчайших клеточных процессов до противостояния человека человеку, до величайших битв между людьми на земле. В искусстве посредством языка, выражений он смещается в ментальную плоскость и продолжается уже там.

Боль и удовольствие — язык — человеческое. На мой взгляд, боль и удовольствие служат главными движителями жизни (жизнедеятельности) человека и жизни вообще. Как *в процессе эволюции* всей жизни — от физического и химического до биологического, от животного до человека, — так *и в настоящий момент* жизнь и ее постоянные изменения — всего лишь проявления противоборства между болью и удовольствием. Я полагаю, что сила боли и удовольствия привела в движение биологическую жизнь, в ходе эволюции которой в живом организме развилась четко отлаженная гомеостатическая система регулирования животного организма; и именно в этом животном организме зародились и развились эмоции и чувства; а их развитие означало прорыв, становление ментального осмысления, и со временем эволюция именно ментально-

го измерения — поиска способов выражения, потребности в выражении — вылилась в становление языка; и именно языком — внешним проявлением поединка между болью и удовольствием — оно возведено до уровня ментального, — животное становилось человеком (*homo artisticus* или, как его принято называть не без некоторого налета романтики, *homo sapiens*).

Следовательно, человеческое существо есть результат процесса, в котором ментальным проявлениям происходящих в теле биологических процессов в виде эмоций и чувств удалось отделиться от физической составляющей тела; я рассматриваю это как выход *ментального*, словно проклевывающегося птенца, из тела, в которое заключено животное начало и которое служит ему своего рода укрытием (или местом заключения, в зависимости от того, как смотреть на различные аспекты человеческой природы), защищающим хрупкую животную жизнь; ментального, рожденного в уютном тепле лона, где вынашиваются и витают эмоции и чувства, которое медленно пробивает защитный панцирь, приютивший это живое существо, разрушает вещный защитный панцирь, как птенец проклевывает скорлупу яйца и выбирается из нее на свет навстречу жизни.

Значит, язык — суть выражение ментального проявления биологического противоборства боли и удовольствия; но наш язык — язык незрелый, несовершенный скорее напоминает гадкого утенка, неспособного летать, но обещающего стать белым лебедем, который перелетит через границы уже познанного, через немислимое, поднимется к новым высотам познания на крыльях языка, которому еще только предстоит появиться на свет, обрета выражения для сокровенных чувств, окрыляющих наши мысли. (Если бы не постоянное страдание, к которому подводит нас язык, я бы использовал более романтическое сравнение языка с нераспустившимся цветком).

Ревность, рождаемая телом. Интересно отметить, что Марсель Пруст, чье творчество во всех отношениях служит демонстрацией бинарного поединка между болью и удовольствием в бесконечных его вариациях, также определял человеческие чувства, как аспекты такого биологического противоборства; представляя ревность как противоположность удовольствию, как причиняющий боль аспект удовольствию любви, он утверждал: «ревность — порождение телесное, ревность — непризнанное дитя удовольствия». По его словам, «ревность родилась задолго до интеллекта, так что они так никогда и не встретились, и интеллект не может принести ей никакого утешения». Выходит, коль скоро ревность есть проявление телесной боли и удовольствия, — «сознание безоружно перед лицом ревности, как перед болезнью и смертью»¹.

Приходится только удивляться тому, что за ныне здравствующей академической наукой по-прежнему сохраняется статус формального свода истин, хотя не раз становилось очевидным, что бесконечные вариации подлинных истин жизни (а значит, научных истин) раскрываются в искусстве и литературе, — как, например, в документально обоснованных исследованиях человеческого поведения в произведениях Марселя Пруста. — При этом в академической науке, возвращенной на традициях (основанных на извращенных теориях Платона, в которых реальное и вымышленное перевернуты с ног на голову), ничего не найти, кроме подмены реальности упрощениями жизненных явлений, изложенными вещным деревянным языком (но дело даже не в этом, зачастую это просто обман в чистом виде), когда бесконечные жизненные вариации сводятся к нескольким поверхностным

¹ «On La Bonne Hélène» («О Прекрасной Елене») в сборнике «Marcel Proust on Art and Literature». 1997, Carroll & Graf («Марсель Пруст об искусстве и литературе»). С. 294–297.

представлениям, облеченным в форму понятий и обретающим смысл и значение лишь в зависимости от того, что в разное время считается модными тенденциями в Академической Науке. Мне кажется, что этому жанру следовало бы дать более подходящее название — *социальная научная фантастика*, ибо Академическая Наука есть не что иное, как устоявшееся творческое движение, которое мы должны обозначить точно так же, как обозначаем другие формы искусства. Нам следует понять, что труды Пруста фактически и есть социальная наука, ибо настоящей наукой может быть только раскрытие общего (т.е. научного) на основе добросовестного и глубокого изучения поведения конкретных людей, а этого можно добиться только благодаря глубокому осмыслению человеческих выражений и толкований, глубокому проникновению в источники боли и удовольствия в человеческом теле, в корни истоков ментальных проявлений жизни. — Не рассчитывая на многое, мне хотелось бы все же в какой-то мере способствовать соединению грамматики жизни и литературы с грамматикой академической науки, побудить ученых всем миром спуститься со своей научной башни из слоновой кости, где они сидят взаперти вдали от всех практических жизненных проблем, занимаясь самой что ни на есть извращенной формой искусства, которой они, словно щитом, прикрываются от всяческой критики, называя ее «наукой».

Искусство — толкование чувств. Искусство — это поиск подлинного выражения толкования собственных чувств художником, артистом. — И здесь вновь стоит вернуться к тому, что бытие можно рассматривать как процессы, в которых чувства каждого человека связаны с выражениями других людей, — и все эти выражения мы можем назвать социальной практикой. Согласно этому представлению, ментальная составляющая отдельного че-

ловека остается незаполненной, бессодержательной, она лишена смысла и всех человеческих качеств и не может развиваться при отсутствии контактов с другими людьми. Искусство — это поиск подлинных выражений для индивидуальных толкований — толкований чувств отдельного человека. Здесь я хочу подчеркнуть, что поскольку всё есть творчество, то все, что мы называем искусством, — это творчество в особом значении, а именно то, что мы пытаемся открыть, погрузившись в поиск внутри себя, — но даже этот поиск в себе мы можем реализовать только посредством осмысления всего внешнего, того, что отображает чувства других людей. Суть такого творческого поиска — проекция внутрь себя отражений внешнего, социального, языка. Это все те же самые выражения и толкования социальной практики, всего нашего существования, бытия. И это — творчество, искусство жизни. Смысл этого особого вида творчества, искусства, заключается в осознанной попытке найти более совершенные способы выражения, найти выражения для проникновения сквозь поверхностное восприятие вглубь представления о реальности, найти выражения, благодаря которым мы сможем окунуться в глубины истинных чувств. Мы можем представить себе художника, т.е. ученого, в своих поисках, исследованиях погружающегося в свой внутренний мир и сталкивающегося с той же задачей, которую приходится решать врачу или рентгенологу при проведении медицинского обследования анатомии внутренних органов, движений и функций частей тела; перед художником стоит сложнейшая задача постичь те же движения в телесных эмоциях и чувствах, получить полную картину, поставить диагноз своим сокровенным чувствам, а затем истолковать и отобразить свои открытия в предметах и представлениях искусства, литературе, живописи, танце...

Можно и дальше продолжить эту аналогию и изобразить развитие искусства в сравнении с развитием рентгенологии, где врачи ушли далеко вперед от старых методов прослушивания звуков внутри тела, прижимая ухо к груди пациента (пока ухо художника прижато к сердцу, этот метод можно даже рекомендовать для социальных наук). Разнообразие стилей и канонов в искусстве сродни многообразию инструментов и новых методов в медицине: стетоскоп; медицинский акустический прибор для прослушивания звуков внутри тела человека и животного, позволяющий распознать звуки работы сердца и дыхание; дальше более усовершенствованные приборы, позволяющие уловить слабые отголоски звуков кишечника и кровотока в кровеносных сосудах; затем рентгеновские лучи, гамма-лучи, высокочастотные звуковые волны, ультразвук и магниторезонансное обследование. Многообразие методов медицинского обследования вкупе с возможностями получения снимков внутренних органов под разными углами для самых разных целей дает визуальное изображение всех частей тела, тканей и органов, возможность посмотреть, на что они похожи и как они сжимаются и расширяются, получая таким образом более целостное представление о человеческом теле. — С помощью разных форм искусства мы точно так же стремимся уловить бесконечные вариации человеческих чувств и найти выражения, несущие, в конечном итоге, мир человечеству. В своих исканиях художник, захваченный всепоглощающей идеей перейти границы существующей реальности, полностью отдает себя искусству и превращает собственное тело в некую уединенную лабораторию боли и удовольствия, навлекая на себя в этих исканиях полусознательно-полубессознательно нечеловеческие муки, ибо муки творчества, — именно муки, — есть сам метод, и в этих страданиях боль и удовольствие художника. Нет

никакого обезболивающего, способного облегчить его терзания, и нет никакой возможности избежать осколочных ран, которые художник, сам того не желая, — ведь он не может остановиться ни перед чем, — наносит тем, кто стоит на пути к новому выражению, новому способу проникнуть в истину.

Пруст о толковании чувств. Все творчество Марселя Пруста¹ об интерпретации чувств — и практически, и теоретически. Он не говорит о задаче художника именно этими словами, но использует похожий образ, утверждая, что «долг и задача писателя сродни долгу и задаче переводчика»; это замечание следует сразу после слов о том, что «главную, единственную настоящую книгу крупному писателю не приходится сочинять в прямом смысле этого слова, потому что она существует уже в каждом из нас, он должен просто перевести ее». Пруст говорит о той же задаче истолкования, перевода тех чувств, которые у нас есть, которые живут в нас в каждый момент жизни². В очерке «Против Сент-Бёва» он высказал ту же мысль, утверждая, что «великая литература сочиняется как бы на иностранном языке. Каждому выражению мы придаем смысл, или, во всяком случае, мысленный образ, который часто является неверным переводом. Но в великой литературе даже все наши неверные переводы все равно приводят к прекрасному»³.

В «Обретенном времени», последнем томе цикла «В поисках утраченного времени», Пруст подчас откоро-

¹ Здесь и в других примерах я ссылаюсь на Пруста, не обращая внимания на форму выражения его взглядов, не видя смысла в попытке проводить разницу между высказываниями от его собственного имени или через его вымышленного рассказчика.

² *Пруст М.* В поисках утраченного времени. Обретенное время. Амфора, 2006. С. 260, 267–268.

³ *Пруст М.* Against Sainte-Beuve (Против Сент-Бёва) // В сборнике: *Proust M. On Art and Literature.* 1997, Carroll & Graf (Об искусстве и литературе). С. 267–268.

венно говорит о своих литературных и эстетических убеждениях. В этом произведении я нашел мощную поддержку своим философским взглядам, которые являются предметом этой книги. Чтобы понять их суть, все осмыслить до конца, приходится читать все шесть томов, иного, более короткого пути нет. Необходимо прочесть все от корки до корки, с первого до последнего тома. И именно поэтому мне не хотелось бы указывать конкретные разделы книги, но все же скажу, что на страницах 266–269 «Обретенного времени» собрано воедино столько наблюдений, относящихся к мыслям о толковании чувств, что все же стоит обратить на них особое внимание. — «Как литература ремарок и пометок могла приобрести хоть какую-нибудь значимость, поскольку именно под мелочами вроде тех, что отмечены ею, и заключается реальность»; только «ложь», называемая «реальностью», рожденная в сознании «чередой всех этих неточных выражений, в которых не остается ничего из того, что в действительности было нами прожито»; «величие истинного искусства состоит в другом», а именно, — в интерпретации жизни (т.е. толковании чувств), в «той реальности, которую мы можем так и не познать до самой смерти и которая является всего-навсего нашей жизнью. Истинная жизнь, наконец-то найденная и проясненная, то есть единственная жизнь, прожитая в полной мере, — это литература. В определенном смысле такая жизнь всегда свойственна каждому обычному человеку, а не только художнику». — Пруст утверждает, что такая жизнь «свойственна» всем людям, не только художнику, ибо для него представление об искусстве заключалось в том, что *всё — искусство, всё — творчество*, и что нужен особый человек, сознательно занимающийся искусством художник, который бросает все ради того, чтобы обрести творческое начало, свойственное людям, свойственное повседневной

жизни, истолковывать чувства, те чувства, которые можно обнаружить в каждом человеке, и перевести их в язык искусства. — Ведь «только с помощью искусства» мы «можем отстраниться от самих себя, понять, что другой человек видит в этой вселенной, которая не похожа на нашу, чьи ландшафты могли бы остаться для нас столь же незнакомыми, как и лунные». Это истолкование художником своих собственных чувств, но также и истолкование им чувств других людей. — «Это работа художника» — разнести — сокрушить — умозрительную реальность, созданную привычками, понятиями, наукой... — словом, всем тем, что является продуктом созерцания только внешнего, и «заставляет нас двинуться в обратном направлении, это возвращение к глубинам, где все то, что существовало в реальности, осталось неведомо нам», это пуститься в обратный путь, вернуться к глубинам», это «попытка увидеть за материей, за опытом, за словами нечто другое».

В очерке «Против Сент-Бёва», в черновиках которого Пруст оттачивал свой стиль и свои литературные принципы, он оперирует представлениями об интерпретации чувств, уверяя, что в книге «должна быть глубина», что она «должна рождаться в тех уголках нашей внутренней жизни, где появляется возможность для создания произведения искусства», и там нам придется «погрузиться в глубины своего внутреннего покоя, где мысленно подбираются слова, полностью ее отражающие», которые таким образом «рождаются духом». Писатель, начинающий такое путешествие в свой духовный мир, «пишет, невзирая на лица, и ради того, что является глубинным и главным в нем самом»¹.

¹ Пруст М. Against Sainte-Bevoe (Против Сент-Бёва) // В сборнике: *Proust M. On Art and Literature*. 1997, Carroll & Graf (Об искусстве и литературе). С. 270–271.

В какой-то момент Пруст даже использует то, что я называю специальным термином «толкование чувств», утверждая, что «объективная ценность искусства здесь совершенно ни при чем, если что и нужно выявить, вытянуть на свет, так это наши чувства и страсти, а значит, всеобщие чувства и страсти человеческие»¹.

* * *

Искусство, язык, символы. Все выражения, искусство в целом есть общение символами. Любое самое миниатюрное выражение является символическим. Язык — творчество, все бытие является символическим. Мышление, познание происходит через символы. — Все символы предназначены для отображения восприятий — восприятий в состязании. — Искусство, язык заключаются в попытке перевести чувства в выражения, *состоящие из бесконечного числа* символов, ничего, кроме символов, символов, вызывающих воспоминания, наводящих на мысли о событиях и вещах, напоминающих о прошлом, вызывающих чувства в сознании, ставящих чувства под сомнение.

* * *

Боль и удовольствие всегда переплетаются. Установив, что все в жизни есть функция бинарной противоположности боли и удовольствия, нам нужно сделать оговорку и подчеркнуть, что выбора между ними никогда не существует; боль и удовольствие всегда переплетаются друг с другом, как аспекты единого целого, вот почему все попытки добраться до корней проблемы обречены на провал, но не напрасны, ибо каждый Герой Искусства

¹ Пруст М. В поисках утраченного времени. Обретенное время. Амфора, 2006. С. 282.

помогает настроить наши чувства на познание какого-то нового аспекта жизни. И каждый из них теснее связывает нас с чувством (ведь, в конце концов, несмотря ни на что, мы не можем исключить, что такой ход событий все равно имеет место), которое можно обнаружить по ту сторону боли и удовольствия и которое все сводит в одном — в чувстве любви.

Любовь и доверие. Итак, я предлагаю трактовать творчество как стремление найти выражение, такое выражение, которое созвучно толкованию чувств, ощущениям боли и удовольствия... Но за их пределами — в конце пути — нас ждет самый ценный трофей — это чувство любви. Пожалуй, она является единственной значимой целью в жизни — стремиться испытать, уловить сокровенное чувство любви и, вооружившись любовью внутри себя, тянуться к ней и вызвать ответное чувство или просто любить в ответ... И у меня кружится голова при мысли о том, что это на самом-то деле и есть самое что ни на есть научное стремление, которое дается жизнью человеку и всему роду человеческому.

Шагал говорил: «В нашей жизни, как и в палитре художника, есть только один цвет, способный дать смысл жизни и искусству. Цвет любви». — *В языке* цвет любви — это истолкование самого предельного чувства, того, что превыше всего, самого искреннего подлинного чувства, чувства, стоящего за бинарным поединком между болью и удовольствием, — любви.

Вот так самое сокровенное значение искусства и творчества повседневности — бытия — сходятся еще в одном аспекте, главнейшем аспекте творчества, предельном проявлении жизни — в любви. Это многое говорит о науке, разуме и общих приличиях, — о том, что, пожалуй, понимают это только безумцы, только те, кто от избытка радости, как новобрачные, летают вместе с коровами и деревь-

ями, петухами и селедками над крышами домов под звуки музыки тайного скрипача чувств.

И я вовсе не пытаюсь быть романтиком, это просто рассуждение с научной точки зрения — научной в смысле отказа утверждать нечто метафизическое, научной в смысле связывания наших высказываний о реальности с биологическими и физическими фактами природы, просто констатация того, что по ту сторону добра и зла, душевного смятения, биологического начала и всей биологической жизни есть ментальная реальность — и это любовь.

Творческое движение, названное религией, — в ее неполитических изначальных формах, — представляет собой попытку уловить чувство любви, осмыслить это чувство, а также усилить и углубить его.

Любовь — самое сильное чувство, чувство, которое нам хочется уловить и пережить, или скорее *пережить вновь*, — ибо именно это мы и делаем, пытаясь вернуть чувство, которое мы мельком увидели, ощутили на какое-то время, на краткий миг, чувство, которое пронеслось перед нами, — и мы всегда мчимся за обретением утерянного чувства, ибо я полагаю, что жизненная дилемма состоит в том, что истина находится в будущем, но любовь, надежда и доверие — в прошлом, и мы находимся в постоянной погоне за воссоединением с этим чувством в будущем. И именно поэтому я считаю, что, в сущности, поиски утраченного времени — это поиски обретения будущего и любви. К тому же мы поймем, что любовь как раз «чувство», а не предмет обладания, а коли это чувство, то его действительно можно отыскать, отыскать и обрести вновь, обрести вновь и сохранить, сохранить и воскресить, воскресить, испытать, испытать и пережить заново — внутри себя.

Но неужели *доверие* и *любовь*, — в свою очередь, — всего лишь аспекты того самого сильного чувства, аспек-

ты *того чувства*, что запуталось в наших восприятиях (путая одно с другим), неужели доверие — то, что в пределах возможного, то, чего мы можем достичь и чем мы можем наслаждаться в отношениях с теми, кого жаждем любить, неужели это форма любви, свободная от всяческого желания обладания, всяческой состязательности, ревности и сравнений.

Доверие превыше любого обладания и всех форм обладания вместе взятых, и особенность доверия, — лишнего всяческой состязательности и сравнений, — состоит в том, что его в принципе можно умножать до бесконечности и разделять с любым количеством людей, ибо все, что нужно, — это просто найти кого-то, кто стремится завоевать ваше доверие, доверять вам и пользоваться ответным доверием. — По-моему, нам нужно исследовать сущность чувства доверия подобно тому, как это было с любовью в искусстве и литературе.

* * *

Этой книгой... я хочу выразить свою убежденность в том, что *всё в человеческой жизни* опирается на социальную практику, то есть на традиции, передаваемые от человека к человеку, из поколения в поколение. — И тем самым мне хотелось бы подчеркнуть, что *человеческая жизнь* может быть только *жизнью в обществе*, жизнь человека обусловлена самим обществом и не может быть жизни вне общества.

У меня есть цель... Я хочу внести свой вклад в коренное изменение нашего восприятия *знаний, науки и человеческого познания*, которое является основой человеческой жизни, человеческого сообщества, всего человечества. По моему убеждению, всё достигнутое человечеством, — или всё, что люди считают достигнутым, и всё, чего можно достичь, — всё зиждется на социальной практике — ни на чем другом.

Ни на одном отдельно взятом человеке... Нет в мире ни разума, ни учености, ни знаний, заложенных в каком-то одном человеке; ум и знания кроются только в социальной практике. В равной мере это относится и к «невежеству» и к «ошибочным суждениям», ибо они являются производными социальной практики. Невежество и ум, знания — неразделимые стороны человеческого сознания, нет одного без другого. — Оба они представляют собой аспекты социальной практики, но опять-таки понятие социальной практики не следует воспринимать по аналогии с чем-то реально существующим. Не стоит думать, что социальные практики могут существовать (они же не вещи). Через понятие социальной практики мы всего лишь описываем совокупность человеческого поведения — сегодня и в былые времена. Так что речь идет лишь об аспектах несуществующего. Всё только что сказанное может показаться противоречивым, но это только потому, что в основе наших языков заложена необходимость выражать что-то существующее, то, что можно увидеть, до чего можно дотронуться! Социальная практика — это всего лишь *отражение прошлого опыта*, запечатленное в языке, в выражениях, нечто невещное, имеющее место только в наших восприятиях.

* * *

Знание. Знание — это знания о социальной практике, традициях, и поэтому мы не можем назвать его объективно правильным и достойным восхищения или порицания. Знания — это просто то, что мы заучили, что мы приучены признавать знанием.

Язык. Социальная практика отражает лишь то, чем люди занимались в прошлом и чем они занимаются и поныне, — и ничего, кроме этого. Эта практика передается от человека к человеку и из поколения в поколение в

языке, язык является ее высшей *формой, высочайшим проявлением*. — Здесь я употребляю слово «форма», как бы ни хотелось избежать его, но ведь именно так *мы говорим* — или, как говорят, *используем язык*. — Ведь у нас есть только *грамматика языка вещей*, пригодная для вещей, но не пригодная для более сложного описания чувств и суждений человека. Наш язык годится лишь для описания вещей из мира природы, физической реальности. Мы подчиняем чувства тем же жестким механическим правилам сознания, словно чувства тоже преобразуются в вещи, на которые действуют законы тяготения. — Если же придерживаться законов физики, то следует как минимум ввести язык в плоскость теории относительности. — Итак, наша грамматика, наш язык не позволяют нам по-настоящему коснуться чувств, рассказать, о чем мы на самом деле думаем. Эта грамматика мешает нам найти слова для выражения самого сокровенного, своих чувств. Нам очень хотелось бы иметь другой язык, мы нуждаемся в другом способе говорения, нам нужен *язык чувств*, новый способ выразиться, которого у нас пока еще нет, но которому нам придется научиться. А пока мы подступаемся к чувствам, вооружившись абстракциями, полагаем, что с помощью абстракций можно как-то проникнуть в сферу ментального, но это вовсе не так. То, что мы принимаем за абстракции, является всего лишь ментальной формой вещей, которая в наших головах превращается в стереотипы построения по аналогии с вещным миром, я это называю вещным образом мышления. Вооружившись языком вещей, мы, подобно Дон Кихоту, сражаемся с таким образом мышления, с ветряными мельницами в сознании. Этот *язык (эта вещьца в мышлении)* заводит нас в порочный круг; все абстракции сами по себе являются лишь словами для обозначения вещей и их движения, выступающими в новой для себя роли, где они кажутся

красивыми и удачными. Всё это образы, «рождающиеся в наших головах», словно штрихи, извлекаемые из исходной «вещи». Но, увы, мы все-таки воспринимаем реальность через эти вещные образы, теснящиеся в сознании и ищущие пристанища в языке.

Язык. Знания запечатлены в языке, и больше нигде. Лишившись языка, любое новое поколение начало бы жизнь с нуля. Язык — это то, что отличает человека от животного, — в хорошем и плохом смысле. — На мой взгляд, в этом смысле интересно отметить, что Альберт Эйнштейн размышлял о связи между социальной практикой, языком и знанием. Об этом свидетельствует следующая цитата из книги «Мир, каким я его вижу» (собрание его писем и иных заметок): «Большая часть наших знаний и верований передана нам другими людьми посредством языка, созданного этими же людьми. Без языка наши умственные способности оказались бы крайне скудными, где-то на уровне высших животных; поэтому нам следует признать, что своим главным превосходством над животными мы обязаны жизни в обществе». — «Размышляя над своей жизнью и своими устремлениями, мы вскоре замечаем, что почти все наши действия, поступки и желания тесно связаны с существованием других людей»¹.

Социальная практика. Для иллюстрации идеи социальной практики, по всей вероятности, лучше всего подходят слова «отражать» и «отражение». Социальная практика является отражением того, что говорится и говорилось людьми, но, подобно радуге, ее нет нигде, кроме как у нас в голове, в мышлении, и она передается в языке.

Интеллект. Человеческий интеллект не достояние отдельно взятого человека. То, что можно назвать умом,

¹ *Einstein A. The World As I See It. 2000, Citadel Press (Эйнштейн А. Мир, каким я его вижу). С. 8.*

интеллектом, на самом деле является культурным наследием, социальной практикой, отражающей опыт, накопленный человечеством с незапамятных времен. — Это выглядит так, словно мы являемся процессорами обработки информации в не знающей пределов разбросанной системе, словно мы обрабатываем накопленную закодированную в языке информацию, а затем с помощью языка предоставляем уже переработанную нами информацию для доступа другим людям, — кому угодно и никому конкретно, — и все это повторяется — получаем, перерабатываем и передаем другим снова и снова.

Язык вновь и вновь, подобно стремительному потоку, питает энергией социальную практику, как вода, приводящая в движение колесо, служащее источником энергии для мельничного жернова, перемалывая зерно в муку, вращая колесо жизни... Выражения поддерживают круговорот социальных практик, нагнетая воздух, налегая на колесо своим весом и приводя его в движение. Слова, как вода, плещутся, разлетаются брызгами, расплескиваются вокруг. Вода и слова, движение — временами стремительное, неистовое — вращают это колесо. От волны, фонтанами вздымающейся ввысь и разбивающейся о берег, отрывается резвая капелька, ударяется о лопасть колеса, отскакивает, оказавшись в воздухе, ловит, вбирает в себя лучик голубого неба; словно око, жемчужина в капельке отражает свет от находящегося в бесконечной дали солнца, лучи которого питают землю, приводят в движение всё живое, вздымают волны в воздух, обрушивают их вниз, затем несут через горы к реке, вниз по течению, раскручивают мельничное колесо, мелют муку, вращают колесо жизни... На какой-то миг капелька засветилась, поймав и удержав в себе луч света, смысл жизни, — и колесо прокрутилось, поглотило капельку и ее свет в жернове, питая жизнь выражением этой капельки и всего

океана, заряженного энергией далекого солнца; эти лучи подобны выражениям нашего языка, отражающего чувства людей, проживающих свой век и уходящих из жизни, превращая ничто во что-то, в свою очередь, вращая колесо жизни. — Я не знаю, откуда взялся этот всплеск. Я просто хотел высказать мысль о том, что слова, язык и социальная практика пребывают в постоянном движении, оказывая при этом непрерывное воздействие друг на друга. Но изначально у меня «на выходе» была другая метафора, более созвучная поэтике нашего времени. Я имел в виду аналогию с всемирной паутиной — Интернетом, который может служить метафорическим образом, передающим эту идею, поскольку там в упрощенной форме задействованы все те элементы, которые присутствуют в социальной практике в самом общем смысле. Со строго функциональной точки зрения информация в Интернете не находится нигде и в то же время везде (если только это человеку по средствам). Данные, сообщения, находящиеся в этой мировой сети верований, становятся доступными для всех. Совсем как язык, которого нет нигде и который однако же есть повсюду. Аналогичным образом у нас есть доступ к языку в сети социальной практики, носителю и воплощению знаний, закодированных в языке, являющемся высшей формой социальной практики.

Знание и информация. Знание и информация складываются только из сжатых отражений, отзвуков, выражений, *чувств, отскакивающих рикошетом от* одного человека к другому, от кого-то к кому-то, неизвестно к кому. В знании и информации нет ничего вечно-незыблемого, в нем нет никакой данности. — *Знание является всего лишь очередным рядом выражений и толкований.* — Но ведь то же относится и к обратной стороне, к нашим неверным суждениям и невежеству, неверной информа-

ции и дезинформации, короче говоря, к разного рода ошибочным убеждениям, а также выражениям и толкованиям; знание-незнание, они же являются лишь разными ипостасями одного единого, для кого-то это знание, для кого-то глупость, и какие ярлыки мы навешиваем на одно и какие на другое — это дело вкуса. Так происходит и со всем в жизни — бесконечные вариации, бесконечные аспекты, ускользающие от нашего внимания, коль скоро разом в голове прокручивается только что-то одно. — По существу, европейская наука — это поэтическое возвеличивание разума (хотя сам разум полностью отсутствует в сущностном содержании), причем до такой степени, что никому даже в голову не приходит, что неверные суждения являются составной частью того, что называется наукой. Это ли не высшая форма незнания!

Знание — язык — действия. Социальная практика рождается из конкретных действий людей и так же возвращается, воплощается в их конкретных действиях. Язык, который сам по себе абстрактен, превращается в конкретику через деятельность людей на земле. Действия людей — это социальная практика, которая формирует язык, где отражены знания.

Познание — способность к осмыслению. Теперь мы можем выделить *элементы (опять это вещное слово!), участвующие* в процессе познания, мышления (в том, как создаются знания). Они подразумевают следующее:

- отдельно взятый человек истолковывает свои собственные чувства;
- между тем, на его чувства оказывают влияние все услышанные им выражения (или увиденное, *вспомните широкое определение языка*);
- отдельно взятый человек вновь передает с помощью выражений свое толкование чувств вовне, другим людям;

- каждый человек истолковывает выражения других людей;
- но тем временем исходные выражения совершили путешествие по языку и уже больше не являются выражениями чувств кого-то одного конкретного человека;
- значит, притом, что отдельный человек истолковывает свои чувства, социальная практика оказывает воздействие на эти истолкования и формируется им, иначе говоря, люди, в процессе общения выражающие свои телесные нужды и чувства — мнения, желания, потребности, — образуют социальную практику.

Таким образом, происходит непрерывное взаимодействие между выражениями чувств одного человека и социальными практиками всех остальных людей, т.е. отражениями всех выражений ушедших времен и настоящего. Именно это я хочу акцентировать, чтобы обозначить, что такое взаимодействие выражений и толкований, выделить как открытое пространство, где протекает человеческая жизнь, как театр, на сцене которого разворачиваются все ее действия, жизнь человечества в состязании или в сотрудничестве. Хочу показать, что все, в конце концов, зависит от толкования чувств, возникающих у каждого человека, и их взаимодействия, т.е. социальной практики, что является не чем иным, как отражением выражений каждого человека.

Теперь мы можем осмыслять «знание» лишь как отражение того, что возникло и получило свое развитие в обществе как таковое в результате воздействия различных мнений, чувств, восприятий в вечном состязании.

Память. На мой взгляд, разобраться в том, что такое «память», вникнуть в ее суть, понять все те биологические процессы и явления, из которых она складывается,

пожалуй, главное для того, чтобы осмыслить суть познания в целом: что такое биологическая память или, скорее, какие биологические процессы происходят при запоминании и формировании памяти? — Неужели хранения в памяти вообще нет, что слово «хранение» это просто пережиток языка вещей? Может ли быть, что память просто своего рода авангард процессов, порождающих эволюционные приспособительные реакции на меняющиеся условия; что у организма просто есть некий способ отреагировать на сенсорные импульсы таким образом, что с приходом нового импульса происходит его сравнение со всеми предшествующими импульсами; и что такое биологическое сравнение начинает сразу же непрерывно настраивать тело на произведение образов, восприятий, которые в воображении человека выливаются в воспоминания. И, может быть, язык в силу своей абстрактности приводит к активизации или преобладанию определенных процессов. По этой гипотезе даже память в значительной степени попадает под «внешнее управление» социальной практики, т.е. языка. — Нам следует всегда и во всем иметь в виду, что познание строится прежде всего на толковании восприятий, которые всегда в большей или меньшей степени подвержены разного рода ошибкам и отклонениям.

Социальная практика и взаимодействие чувств. Идея соединения социальной практики с извечным взаимодействием индивидуальных выражений и толкований явно противоречит тому, как на протяжении всей истории относились к необходимости описывать и истолковывать жизнь и знание¹. Очевидно, издавна объяснения стали искать во внешних силах — деревья, растения, животные наделялись мистической силой и способностью управ-

¹ Примечание: знание о физической природе, природе и обществе, поведении и социальной практике.

лять судьбами людей, жизнью на земле, всей вселенной. Обожествлялись горы, озера, моря, другие природные объекты. Божественное могущество приписывалось солнцу и звездам, небесным телам. Позднее эти качества стали неотъемлемым свойством особых существ, богов, сотворенных по образу и подобию человека. Эти верования, бесспорно, возникли как следствие практического мышления, практической человеческой логики в размышлениях о физическом мире, исходя из того, что доступно познанию, используя существующие на тот момент возможности. — Я полагаю, что эти традиционные верования строятся на мысли о том, что природные силы, божества были в некотором роде отражением самого человека. Похоже, что в этом смысле у человека в те времена, — как сейчас и у меня, — в конце концов, сложилось представление о мире, как о проецировании самого себя (своего Я) на мироздание. И это, в свою очередь, сродни идее истолкования мироздания с точки зрения своих собственных чувств. — Поэтому выдвигаемая теперь мною как парадигма познания (философии и науки) идея толкования чувств, может быть, выражает это самое извечное и основополагающее представление. Мы просто возвращаемся к этой мысли после расчистки завалов и обломков, кирпичиков наших наук, которые, по-моему, было бы лучше назвать социальной научной фантастикой, двумя тысячелетиями неверно поставленных вопросов. Таким образом, сбросив наслоения неверно трактуемых философских проблем, заблуждений, лингвистической путаницы и ошибок, мы возвращаемся к извечному, таинственному, к тому, что нам не дано познать. — Кардинальная ошибка, которая вылилась в 20-м веке в социальные науки, заключалась в сваливании в одну кучу представлений о физической природе (естественных наук) и о ментальном и духовном, то есть о том, что мы сегодня

называем социальными науками, философией и религией. И при этом, что еще хуже, взят за основу ошибочный взгляд на естественные науки как на высшую форму знания. Это стало следствием представления о том, что все, что имеет место, имеет *вещную* природу — есть вещь, и что каждая *вещь* является *вещью в себе*.

Толкование чувств. Толкование чувств имеет биологическую основу, это результат биологического противоборства, происходящего в бинарной противоположности боли и удовольствия. В ходе эволюции оно постепенно перешло в ментальную плоскость и в итоге — в язык. Человек непрерывно интерпретирует себя и окружающую среду, физический мир. Эти толкования ведут к биологическим и физиологическим изменениям в организме, к тому же они проявляются в выражении эмоций и чувств, как у животных, так и у людей, то есть у всех мыслящих существ. — Безусловно, и люди, и животные являются мыслящими существами, но именно язык, речь отличает человека от животного. Вся суть человеческая и заключается в том, чтобы научиться говорить. Животные общаются с помощью акустических сигналов, издавая звуки, имеющие символическое значение. В этой связи я думал над тем, можно ли определить, в чем разница между общением животных и человеческим языком, в чем заключаются типичные явные отличия между ними, где следует провести черту. А еще я подумал, что, может, простая попытка найти четкие границы и есть сама по себе языковая игра? Поэтому я думаю, что решительная разница заключается в способности обмениваться абстрактными представлениями. Но тут же отдаю себе отчет в том, что любое представление является абстрактным. Ну, тогда, может быть, разница в гибкости, в способности человека посредством языка выражать любые представления без каких-либо ограничений? Остановлюсь на этом

с маленькой оговоркой. И так, в принципе нет никаких ограничений, препятствующих нам в выражении каких угодно мыслей, но именно *в принципе*, ибо мы сталкиваемся с ограничениями практическими, мешающими нам свободно общаться: нам, всему человечеству, еще не хватает практического опыта, подготовки для того, чтобы выразить себя, выразить свои мнения, выразить свои чувства. Наследие человечества все еще весьма небогато, достаточно скудно; изменились формы жизни, декорации на сцене, на которой она разворачивается; вроде бы в своей одежде мы выглядим современно, но язык, наш деревянный язык вещей по-прежнему остается в каменном веке. Вряд ли мы сегодня сможем выразить свои ментальные ощущения лучше, чем это делали люди тысячелетия назад, — может быть, как раз наоборот. Мы пользуемся языком вещей, камня, меди и бронзы, а нужно расплавить все это, смягчить язык, настроить его на лад чувств, на все бесконечные вариации, которые на самом деле живут у нас в голове, в нашем теле. Нам нужна новая грамматика для интерпретации жизни, толкования чувств, начала, вечности, бесконечности — и любви.

Через представление о толковании чувств мы связываем все ментальное (абстрактное) с реалиями природного мира, то есть с вещной сутью познания. — Я подчеркиваю: те выражения чувств, которые мы слышим и видим, — всего лишь бледная копия, слабое толкование оригинала, сокровенного чувства. — Там, внутри тела, природой производится все социальное, человеческое; человеческое — это выражения, язык, в общем, все то, что свойственно человеку. — Природой *рождается* язык, природа — его творец. Из сказанного выше следует, что суть познания, пределы того, что мы можем постичь, сводятся к противоречию в терминологии. Ибо выражения не являются вещами (что я упорно подчеркиваю раз за разом),

в выражениях нет ничего материального, их просто никогда и не было. И поэтому язык не рождается, и его нельзя творить. — Нам же нужно исследовать связи между ментальными (несуществующими) выражениями и биологическим организмом (биологической средой, где и происходят те физические действия, откуда берет свое начало ментальное). В этом-то для нас и есть вызов: овладеть грамматикой и лексикой, пригодной для выражения ментального, выражать нефизическое как чувства, выражать бесконечность и вечность. Выражения появляются на свет физическим путем, но сами они физически не являются. Выражение является лишь толкованием чувств. В этом-то и состоит наша дилемма, то, что мешает нам, людям, познать вселенную, начало и конец существа¹. — А поэтому я подчеркиваю, что о том, к чему мы не можем прикоснуться, следует говорить — и говорить языком искусства.

Разум. Современная наука уходит корнями в греческую культуру времен Платона и Аристотеля. — Хотя сегодня Платоном и Аристотелем восхищаются за их якобы великие труды, меня гораздо больше поражает, как им удалось на пару тысячелетий заглушить замечательные традиции греческой мысли, своих предшественников и современников. Две с половиной тысячи лет назад в Греции уже было известно все то, в чем я сейчас пытаюсь убедить наших современников. Это могло найти свое настоящее выражение еще тогда, бесконечные века страданий и невзгод тому назад, если бы не абсурдный авторитет, который им удалось завоевать, и ложная значимость, придаваемая их трудам. Из-за Платона и Аристотеля человечество свернуло с пути и самым решительным образом сделало поворот не туда, пошло по пути

¹ Эта путаница между существующим и несуществующим является той самой языковой проблемой, на которую указал Витгенштейн.

заблуждения, ставшему фатальной ошибкой всех времен и народов. — Собственно, проблема вовсе не в том, что именно они утверждали (хотя большая часть этих утверждений была в большей или меньшей степени неверной — и в *большей степени неверной* в отношении Платона). А дело в том, что здоровая плюралистическая традиция, преисполненная здравого смысла и мудрости (пусть даже мудрости относительного свойства), не устояла перед авторитетом этих двух тщеславных мыслителей средней руки — одного пропагандиста, а второго, похожего на неприметного директора средней школы. В противоположность им существуют досократовские традиции от Парменида до Демокрита, а также замечательные традиции мышления, известные под названием софизма, названные *софистикой* Платоном, который был мастером превращения черного в белое и смысла в бессмыслицу. Метод софистики и риторики был *состязанием аргументов* не только по форме, но и по глубине осознания сути относительности науки. Представьте, насколько было бы лучше, если бы Демокрит и Протагор заменили наши исторические модели науки! Это величайшая навеки утраченная возможность, утраченная навсегда для тех, кто пришел раньше нас.

Первые письменные свидетельства представлений, отвергающих существование сверхъестественных сил, управляющих жизнью на Земле и олицетворяющих знания, дали греки. Исходя из этих традиций, оторванные от жизни книгочеи стали превозносить *человеческое Я*, некую засевающую в мозгу вещицу, как основной источник знания. В наше время по традиции, называемой философией просветителей, эти учения привели к появлению идей о том, что человек вооружен неким *«разумом»*, который описан в них в технических терминах, словно речь идет о каком-то *техническом оборудовании* или даже о

своего рода *органа*¹. Немецкий профессор Иммануил Кант (1724–1804), который кропотливо трудился в духе господствующих в то время традиций алхимии, получил известность за свой огромный вклад — под видом философии — в распространение суеверия о разуме, мифа, из-за которого в последующие годы человечество попадало из одной катастрофы в другую.

Вначале идея «разума» появилась как фигура речи в беседах и размышлениях заносчивой элиты, взирающей на жизнь с высоты своего привилегированного положения в обществе. Пребывая в недоумении от собственной удачливости, эти люди никак не могли взять в толк, почему они оказались такими умными, и по-настоящему уверовать в свою ловкость и сообразительность, а посему преисполнились решимости найти причину собственного везения и превосходства, уж очень им нужно было отыскать главное объяснение всему этому. Однако же, анализируя окружающий их мир, они ничего так и не смогли обнаружить, и поэтому сочли, что их счастливая судьба объясняется только одним — их острым умом; именно это привело их к единственно возможному выводу: они наделены особым даром *разума*, этой засевшей в мозгу вещицей, правом по рождению, отделившим их от остального человечества, — разумом, ставшим окончательным решением их умственных терзаний и символом их острого ума. — Именно так развивался *разум* — фигура речи, — словно злокачественное образование, раковая опухоль сознания, превращаясь в основу научного мировоззрения, всех предрассудков, надолго затмивших философию просветителей.

¹ Убеждение, по-прежнему пользующееся большой популярностью среди лингвоалхимиков вроде Ноама Хомского и Стивена Пинкера.

Артефакты философской бессмыслицы ощущались далеко за пределами *академического сообщества*, корни трагических событий 20-го века — века предрассудков — уходят в разум, и именно этот придуманный Кантом и ему подобными разум стал мощным орудием в руках зла. Они стерли то немногое, чего до тех пор удалось достичь человечеству в учениях о любви и сострадании, на смену которым пришел их миф о разуме, чудовищный довод чернокнижников, скрывающихся под париками и мантиями ученых, чья просвещенность основана на собственных навязчивых идеях. Затем, утвердив *разум* непреложной философской истиной, эти монстры и их последователи беспрепятственно продолжили свой путь и не отказывали себе ни в чем во имя разума, служившего прикрытием для всех их ошибок и заблуждений. Они преуспели в этом потому, что их бесчеловечная и жестокая бессмыслица была сертифицирована и принята за образец Академией, университетами Европы. Именно так разум, будучи продуктом тщеславного невежества праздного класса, вымостил дорогу в ад, кульминацией которого стала Вторая мировая война, Хиросима, Нагасаки и Освенцим.

При всех неудачах и ужасных трагических событиях, ставших причиной нескончаемой череды человеческих бед и страданий, традиции умозрительного рассуждения под вывеской разума так или иначе способствовали продвижению вперед в поисках человеком знания внутри себя. Теперь уже считалось, что человеческое сознание является центром мироздания. — Некоторым образом так оно и было, но лишь в форме зеркального отображения — бесконечного множества отображений, где человеческие существа похожи на *зеркала, отражающие знание* одного человека на других людей в грандиозном совместном предприятии, которое мы можем назвать социальной практикой. Однако же этим зеркалом не были ни разум, ни

сознание, — если под этим подразумевается все та же вещь в мозге, — скорее, это было *сердце*. *Сердце*, символ, которому я отдаю предпочтение при обозначении познавательного аппарата, коим является весь человеческий организм. Все, что мы знаем, — это всего-навсего отражения между сердцами — прошлые, настоящие и будущие...

Обратная трансмутация — от разума к мышлению. Без оболочки философской шумихи и обмана от этой фигуры речи — *разума* — остается совсем немного, получается так, что в итоге остается всего лишь ординарное *мышление*, и не более того. Хочу пояснить это, показав, как разум совершает путь назад к ординарному мышлению в ходе обратного процесса, возвращая назад лингвистическую алхимию, совершая обратную трансмутацию, следуя по пути алхимиков и философов, увлекавшихся методами алхимии. В конечном счете, работа над упразднением самой бессмыслицы — это единственное направление, где мы вообще можем надеяться на какую-то трансмутацию. Вот как мы это сделаем: возьмем толику совсем уж рядовой бессмыслицы, к ней добавим наши познания в естественных науках и знание грамматики, растворим эту бессмыслицу в ее составных частях и установим реальное соответствие между символом и мыслью. Затем облечем высказывание в более простые слова, переиначим порядок слов и... Voilá! Мы обратили бессмыслицу в смысл. Именно так мы переворачиваем лингвистическую алхимию, бредовые идеи научной элиты, затянувшиеся на два с половиной тысячелетия.

В целях нашего эксперимента приведем цитату из Интернет-сайтов Википедии (как раз посвященных последнему слову в области социальной научной фантастики). Оттуда мы берем образец нашего теста. В качестве контекста для понимания теста читаем: «*По традиции*

утверждается, что разум является отличительной особенностью человека и не встречается больше ни у кого в животном мире. Однако последние исследования в этой области показывают, что низшие животные обнаруживают способности к некоторому рациональному мышлению». — Поражает в этом не утверждение, что животные могут обладать этим мифическим *разумом* (т.е. «способностью к рациональному мышлению»), а то, что в наши дни, в 21-м веке, это сообщение рассматривается как научное открытие, что *способность животных мыслить* — это выдающееся открытие для кого-то из наших профессоров. С какой стати здравомыслящий человек должен доказывать это утверждение некими «последними исследованиями». По сути, эта новость означает, что какой-то оторванный от жизни ученый пришел к потрясающему заключению о том, что *животные способны мыслить*, и что он предпочитает называть мышление «*рациональным мышлением*», которое он приравнивает к «*разуму*». Но тогда в чем же разница между «*рациональным*» и «*ординарным мышлением*», — или имеется в виду, что последнее нам следует называть нерациональным? — Как раз наоборот, наблюдая за поведением животных, можно, скорее, сделать вывод о том, что с учетом физических возможностей их действия гораздо больше соответствуют тому, что мудрый человек, некий идеальный мужчина или идеальная женщина (здесь я испытываю особое желание подчеркнуть равенство полов) сделали бы в данных обстоятельствах. И не это ли нам следует называть *рациональным: поступать наиболее приемлемым образом в любой ситуации*. Я полагаю, что большинство людей, — по крайней мере, из тех, кто не посвящен в святая святых науки, — согласятся с тем, что, наблюдая за поведением человека на публике и наедине с собой, мы, безусловно, не можем сказать то же самое о людях. — Теперь к самому

тесту. Далее в приводимой выдержке говорится: «Мы размышляем, основываясь на одной вещи и делая вывод о другой». — Пытаясь осмыслить значение этого *научного* высказывания, нужно сначала перевести его на повседневный язык. При этом заметьте, что нам придется начать с *исключения понятия «вещи»*. После этого наше высказывание будет выглядеть следующим образом: «Мы размышляем, [делая вывод] [из] [предшествующей информации]». Теперь наше высказывание переведено на повседневный язык, в котором нет путаницы, порождаемой научной манерой выражаться (наш метод — метод толкования: *замена одного выражения другим*). Из изложения бытовым языком становится понятно, что нужно сделать еще один шаг и просто сказать: *Разум делает выводы из информации*. Далее мы отмечаем, что согласно нашим лингвистическим традициям это предложение звучит красивее, если заменить существительное «разум» глаголом «размышлять», тогда наше высказывание будет выглядеть так: «Размышлять — значит делать вывод из информации». А заключительный шаг можно будет сделать, осознав, что слово «размышлять» можно заменить словом «мыслить», что приведет нас к следующему высказыванию: «Мыслить — значит делать вывод из информации». Теперь понятно, что все, что осталось от исходного, алхимического, предложения, — это то, что в повседневном языке означает слово «мыслить». Получается, что ученый мудрец хотел, совсем как ребенок, сказать, что, по его мнению, и животные мыслят. — Лично меня не очень удовлетворяет полученное в итоге определение слова «мыслить». Меня немного беспокоит идея, что «вывод непременно должен быть сделан» (ибо разве мы не можем мыслить, не доводя мысль до завершения, не сделав обязательно какой-то вывод?) — Или, может быть, как раз это адекватно показывает суть человеческого заблуж-

дения, что «разум», по существу, весьма ловко отображает *извечное человеческое стремление делать поспешные выводы*, даже если для этого нет никаких реальных жизненных посылок? А посему, может быть, в конце концов, нам следует предоставить «разуму» описание человеческого мышления, этого объекта незавершенного строительства природы.

Лингвистическая алхимия и конечные стимулы. В период расцвета лингвистической алхимии философы, рассуждающие в духе алхимиков, эти якобы посвященные твердили, что они владеют *высшей тайной* превращения свинца в золото; они утверждали, что овладели самоочевидными истинами, аксиомами и принципами, постигли суть духовной жизни. Из свинца не получилось золота, и человеческие чувства не обратились в истины, ибо жизнь не подгонишь под философские формулы¹. *Аксиомы и принципы, законы жизни...* установление бессмыслицы подобный утверждений и есть вся самоочевидность, на которую мы можем по-настоящему надеяться. — Даже истина относительна, все относительно не только в физике, но и в человеческом обществе. — Конечные аксиомы, конечные принципы суть просто мыслительные галлюцинации, вызванные социальной научной фантастикой, — и все! — Однако все же есть нечто, что действительно является наивысшим, первичным и предельным. Это истине главное находится в теле, в организме человека — в биологическом естестве. Там, в теле обнаруживаются *основные стимулы, побудительные импульсы*, будоражащие человеческие искания, провоцирующие основополагающую бинарную противоположность боли и удоволь-

¹ Я с радостью обнаружил, что этимологически слово «формулы» изначально означало «слова, используемые в какой-либо церемонии или ритуале» (см. www.etymonline.com); нам нужно одно — выдворить их обратно в употребление в таком значении.

ствия, там происходит извечное приспособление к боли и удовольствию, там — сопротивление боли, стремление к удовольствию. Все в жизни проистекает из поединка между болью и удовольствием в извечной бинарной противоположности. Это происходит в организме животных, в организме человека, и в процессе эволюции перешло на человеческие эмоции и чувства. На нынешнем этапе эволюции борьба боли с удовольствием переходит в языковую плоскость. Биологический животный организм эволюционировал из этого же механизма сдержек и противовесов боли и удовольствия, чередовавшихся и переплетавшихся в том, что можно назвать эмоциями, которые на более высоком уровне совершенствования можно считать чувствами. И вот эти чувства вырываются из тела и становятся выражениями, с течением времени изменяясь и совершенствуясь в языке. — Правда, пока рано говорить о каком-то совершенстве, в будущем это, может быть, и будет в языке чувств.

Язык, смещение борьбы между болью и удовольствием в социальную плоскость. В языке извечное противоборство между болью и удовольствием находит свое отражение в постоянном состязании аргументов, происходящем на всех уровнях общественной жизни, в стремлении к удовольствию и отвращении к боли. — В идеальном варианте в социальном контексте это бинарное взаимодействие должно найти свое отражение в социальной практике в виде плавно текущего баланса, гармонии языка, но пока мы можем только мечтать об этом. — Наш язык, манера говорить, выражать свои мысли пока еще далеки от гармонии, язык остается грубым и шершавым, как необработанные каменные блоки, топорным, как дубина человека каменного века, пригодная лишь для метания и удара по голове подвернувшегося противника, а вовсе не служит средством объяснения в какой-то ситуа-

ции, средством выражения того, о чем действительно думаем, того, что нам хочется сказать, а сказать не получается. Мы должны найти язык, позволяющий в любой ситуации излагать все, что мы действительно имеем в виду, высказывать все бесконечные нюансы, чтобы нас поняли, чтобы нас любили. Это зависит от наших чувств, и поэтому для того, чтобы правильно выражать себя, нам придется сначала досконально, во всех тонкостях разобраться в своих чувствах, а потом их правильно выразить. Вот почему необходим новый язык, язык чувств, настроенный и настраивающий на новый лад, язык, позволяющий толковать и описывать свои внутренние эмоции и чувства, язык, дающий возможность найти выражения для всего спектра чувств, многосложности наших мыслей, подобно *оттенкам* цвета, музыкальной *мелодии*; выражения, объясняющие все *пространство* чувств, их *глубину* (но, увы! — даже те слова, которыми я обозначаю необходимое нам разнообразие, связаны с описанием физического мира языком вещей, слова, используемые для описания вещей и их движения, — наверное, только слово «мелодия» больше остальных подходит для выражения истинных чувств). Нам нужно найти способ говорения, который вберет в себя тысячи более тонких оттенков, вписывающихся между дубинкой и ударом по голове, более мягких и утонченных выражений, многогранную, многомерную, полную нюансов манеру речи. — Каменные блоки придется размолоть в песок, и песок плавится, чтобы стать прозрачным, как стекло. Мы должны замешать песок в гипс, из которого мы извлекаем новые выражения в уме, создадим новый образ мышления, то, что облегчит нам толкование чувств и бесконечных вариаций жизни.

Мы пытаемся и мы должны обрести равновесие в языке, чтобы выйти за пределы борьбы между болью и

удовольствием. В языке биологические потребности в адаптации к боли и удовольствию пока не находят должного отражения, и отсюда все наши неудачи и ошибки, неудачи и ошибки человечества, преследовавшие его сквозь века, во все времена. Нас подводит язык, нас подводит сегодняшней язык. Но это не конец, мы не достигли пика; там, где остановимся мы, дальше продолжают другие, и со временем новый язык чувств придет на смену нынешнему бледному, бесцветному языку вещей.

Изобретения. Я уже подчеркивал, что знание, все, что мы освоили, и все, что мы можем освоить, является отражением жизни людей в обществе, отражением общения между людьми и показывал, как творилось, передавалось и передается знание. Знание, не говоря об особом роде знания, называемом «истиной», не есть продукт какого-то одного определенного человека. — Даже то, что может показаться важнейшим вкладом одного человека, на самом деле, лишь незначительная адаптация к социальной практике, настолько малозначащая, что даже не поддается измерению человеческим сознанием. Знание, заключенное в социальной практике, рано или поздно раскрывается не одним, так другим человеком. *Изобретатель* лишь наносит завершающий штрих на старую мысль, старую практику, он по-новому истолковывает прежнее знание. Изобретатель указывает на какие-то новые грани старой проблемы, он разворачивает, изменяет ее и тем самым открывает путь для ее решения. Итак, все перемены, все изобретения, все открытия случаются тогда, когда один человек вносит свой посильный вклад в работу многих других, и все это — результат накопления общечеловеческого опыта, общего наследия, воплощенного в социальной практике. За всеми этими изменениями и изобретениями стоят бесконечные вариации, бесконечные стимулы, побудительные импульсы, а какие имен-

но, не известно. Вот только в человеческом сознании и в науке все преломляется и загоняется в якобы тщательно выверенные формулы «причины и следствия», и при этом заслуги приписываются конкретным людям и конкретным действиям. — Это потому, что изобретения рассматриваются только в ретроспективе, когда уже по привычке ищут причины и следствия и имя того, кто стоит за всем этим.

Знание суть применение, практика. Разве у нас есть какая-то веская причина считать, что достижения естественных наук в чем-то превосходят достижения в социальных науках? — Конечно же, нет! — Как научное знание находит свое отражение в жизни? — Научные знания все быстрее и быстрее, просто-таки угрожающими темпами становятся опасными для экологии, окружающей среды и несут в себе риск полного уничтожения жизни. Так, может, стоит действительно изменить взгляд на знание с тем, чтобы понять, что нет теоретического знания, теории — это домыслы, а знание — это практическое применение, или просто наш жизненный опыт. Теоретического знания не существует, есть либо умозрение, либо практика. — «Наука» не внедряется, не применяется, наука есть отражение того, что находит применение, чем люди заняты на практике. — Нам придется отринуть образ этой *вещицы, науки*, как чего-то великого, чего-то установленного вне человека, скрытого и ждущего своего часа. И необходимо в полной мере осознать, что наука — это дело рук человека, что это людские устремления, поиск Пути, как говорил великий китаец. — Наука — один из аспектов социальной практики, аспект того, что мы делаем сообща, один за всех и все за одного, делаем и делали. А как раз это и приводит естественные науки обратно к человеку. Наука — это то, как люди истолковывают реальность и переводят свои ощущения в научное знание, они же его и неверно истолковывают, и неверно применя-

ют. Этим объясняется, почему естественные науки оказываются лишь немногим лучше социальных, притом, что истоки первых все-таки находятся в чем-то реальном, в физической реальности природы. Ибо знание естественных наук, в конечном счете, тоже означает их применение — («науки» и «в конечном счете» — какая жуткая ассоциация!), и применение как раз возвращает нас к бесчисленным перекосам, на которые только способно человеческое сознание. Беда в том, что из всех людей ученые в наименьшей степени склонны к анализу, поскольку они, привыкшие мыслить сопоставлениями, четко деля все на черное и белое, сводят все сущее к немногим аспектам и игнорируют бесконечные вариации жизни. Но, хотя бы того наши ученые или нет, нам все равно не избежать бесконечных вариаций жизни, ведь они — наша жизнь, наша реальность. В действительности нет ничего неизменного, никакой данности, есть только нескончаемые вопросы и бесконечные сомнения, тропа с бесконечными развилками и бесчисленными поворотами не туда. Границы естественных наук устанавливаются человеческой практикой, эти границы в знании, а знание является всего-навсего отражением той же социальной практики, т.е. языка. Хиросима, Нагасаки, Освенцим, Беслан, Ирак — войны, загрязнение окружающей среды, глобальное потепление, голод, бедность, пропаганда... Согласитесь, у человечества вырисовывается не очень-то привлекательная биография.

НАУКА И ИСКУССТВО

Альберт Эйнштейн в своих размышлениях проник в глубины основ человеческого познания, понимая, что «самое прекрасное, что выпадает на нашу долю, — это ощу-

щение таинственного. Именно это ощущение лежит в основе того чувства, из которого вырастают искусство и наука»¹.

Очевидно, разница между искусством и наукой, если вообще стоит искать какую-то разницу, только в том, как выстраиваются слова, и какая значимость им придается в том или ином контексте. В науке расположение слов и их предполагаемое значение должны подлежать проверке со стороны любого третьего лица, между тем как в других формах искусства это не столь важно, пусть слова используются для выражения чувств без какой-либо попытки установления точной взаимосвязи между знаками, т.е. словами, и их значением. Если, как я утверждаю, всё — творчество, то можно, условно говоря, выделить его сознательные формы. Это то, что мы обычно называем *искусством*, искусство — это сознательная и целенаправленная форма творчества, которая изобилует и должна изобиловать откровенными метафорами (скажем, метафорами ради метафор), при этом их прямое значение может вполне остаться скрытым от зрителя, читателя. Цель такой сознательной формы творчества — пробудить чувство, которое рождается из слаженности всех фрагментов художественного произведения, мелочей, добавляющих новые грани чувству, подобно оттенкам цвета на картине. Отдельное произведение искусства является своего рода микрокосмом, в котором сама суть изложения скрывается целиком в сюжете, в границах более широкого сюжета, каковым является наша жизнь в создаваемой ею воображаемой реальности. И только из совокупности всего этого складывается то, что художник намерен передать, богатство и разнообразие нюансов тех чувств, которыми мы живем. Художник акцентирует внимание на

¹ *Einstein A. The World as I See It. 2000, Citadel Press (Эйнштейн А. Мир, каким я его вижу). С. 5.*

каких-то сторонах своего сюжета, своего Героя, и тем самым открывает нечто такое, что нельзя сказать другими словами, потому что произведение искусства есть выражение самого чувства.

Здесь мне хотелось бы обратиться к словам Марселя Пруста, выразившего ту же мысль со свойственной ему научной точностью и неизменным изяществом следующим образом: «но, в конечном счете, остается лишь невыразимое, то, что, казалось, не удастся ввести в книгу. Нечто неуловимое и неотвязное, как воспоминание. Это атмосфера... Только дело тут не в словах, это невыразимо, это витает между строк, как утренняя дымка в Шантйи»¹. Само художественное произведение как единое, целостное передает посыл, мысль, вынашиваемую художником. Инструментом художнику служит кисть, которой

¹ *Пруст М. Against Sainte-Bevoe (Против Сент-Бёва)* // В сборнике: *Proust M. On Art and Literature*. 1997, Carroll & Graf. С. 271. Интересно отметить, что Людвиг Витгенштейн высказал ту же мысль, о чем свидетельствует письмо, адресованное им издателю своего первого труда – «Трактата»: «Смысл книги – этический. Как-то я хотел включить в предисловие предложение, которого фактически там теперь нет, но которое я сейчас напишу Вам, поскольку оно, быть может, послужит Вам ключом; а именно, я хотел написать, что моя работа состоит из двух частей: из той, что имеется здесь в наличии, и из той, что я не написал. И как раз эта вторая часть более важна. А именно посредством моей книги этическое ограничивается как бы изнутри; и я убежден, что оно строго ограничивается ТОЛЬКО этим. Короче, я думаю: все то, о чем сегодня многие болтают, я устанавливаю в своей книге тем, что я об этом молчу». Ray Monk's Ludwig Wittgenstein – *The Duty of Genius*. 1991. Penguin Books. (Рей Монк о Людвиге Витгенштейне – Долг гения). С. 178. — Эта мысль также содержится в его знаменитом высказывании из предисловия к «Трактату»: «То, что вообще может быть сказано, может быть сказано ясно, а о чем невозможно говорить, о том следует молчать». — В «Культуре и ценности» (*Culture and Value*) (1984. University of Chicago Press. С. 16) Витгенштейн утверждал: «Невыразимое (то, что кажется мне полным загадочности и не поддается выражению), пожалуй, задает фон, на котором обретает свое значение все, что я способен выразить» (82).

он пользуется для изображения бесконечных вариаций жизни, разных ее сторон, разных сторон природы человека, людских мечтаний и печалей и природы во всей ее красе и богатстве. Произведения художника насыщены красками, передающими всю гамму цветов и оттенков жизни. Если понадобится, он в поисках нужного ему тона обойдет полсвета, перевернет грамматику с ног на голову, разнесет в пух и прах слова, переставит их и снова использует по-новому, по-своему, так, как подсказывает ему чувство. Таким образом, он может утверждать, что только так он искренне выражает себя, и мы верим ему, если находим тому свидетельство в чувстве, разбуженном его произведением где-то в глубинах своей собственной души. — Но в научном творчестве такой свободе нет места. В сущности, особое назначение научного языка заключается в переводе всех посылов искусства в по-научному прозрачные утверждения; значит, в научном тексте мы должны облечь свои чувства, мнения, свое мироощущение в ясные и четкие высказывания. Они должны передаваться в выражениях, потенциально понятных всем. Задачей научного языка должно быть приведение всего многообразия чувств к минимальному общему знаменателю, где значение слов соответствует тому, что является общепринятым и потенциально понятным всем владеющим данным языком образованным людям, и при этом следует остерегаться языка, претендующего на научность, избегать ненужных художественных метафор и скрытых намеков. Язык, чтобы стать научным, должен позволять публично условиться о значении тех или иных словосочетаний, о том, что под ними подразумевается.

Итоги научных исследований нельзя внедрить, в них нет ничего подлежащего внедрению. Когда речь идет о науке, то о внедрении можно говорить только в смысле

формирования предпосылки свободного состязания, т.е. о создании условий для свободы, ибо наука, как и все прочее, это непрерывное состязание аргументов. И представьте себе, что это состязание, или скорее игра, в которой новый аргумент, каковы бы ни были его достоинства, похож на каплю в океане, а в лучшем случае на волну (возвышение этой фигуры речи от капли до волны неизменно наводит меня на мысль о приливной волне, а потом о цунами; к тому же я подумал, что война похожа на аргумент размером с приливную волну и что ядерная война — это аргумент, подобный цунами, и остается лишь удивляться, что все же находятся люди, готовые прибегнуть даже к таким аргументам, аргументам, рожденным злым умом и злым языком). — В науке никогда не может появиться никакого нового решающего аргумента, способного изменить все до самого основания и прорвать заколдованную паутину человеческих верований, которые, в сущности, представляют собой не что иное, как различные проявления предрассудков. Изменить саму основу не под силу ничему новому, никакому аргументу, какое бы сильное впечатление он ни произвел на научное сообщество. И все аргументы, доходящие до простых людей, выходящие за пределы круга ученых-эрудитов, в лучшем случае воспринимаются как курьезы и байки из научной жизни. В научном же обществе эти фрагменты знаний могут жить дальше в виде очередного «-изма» в научной литературе или энциклопедии, не имеющего никакой ценности, кроме как — в лучшем случае — «интересного высказывания ученого» или «открытия», которое появляется на один день и исчезает без следа на следующий. Никто, за исключением, быть может, немногих художников, не делает никаких выводов из нового услышанного ими аргумента, и это еще при самом благополучном раскладе, когда что-то вообще было услышано.

Индивидуальные и коллективные убеждения претерпевают изменения и преобразования, различные повороты, — но только постепенно, со временем, в потоке жизни и с развитием социальной практики. Убеждения меняются не за счет каких-то научных аргументов, каких-то теорий или новых открытий, а только путем усвоения новых знаний в языке. И, к сожалению, так же обстоит дело и с превратными представлениями, иначе говоря, с заблуждениями. — Новые идеи возникают и развиваются только в языке, т.е. в социальной практике, там они принимаются и отвергаются, осваиваются, реализуются и там же ими и злоупотребляют. Именно из-за этого современное понимание науки становится столь проблематичным. По аналогии с естественными науками, прибегая к языковым ухищрениям, ученые делают заявления об *открытии*, *изобретении* и *существовании* той или иной *теории социальных наук*, но в реальности — за пределами языковых игр социальных наук — теория есть не что иное, как просто аргумент в числе прочих бесконечных аргументов. И именно поэтому — после ярких и красноречивых публичных обсуждений стройности той или иной самой последней, главной, убедительной теории — у ее сторонников рано или поздно лопается терпение, они становятся все более раздражительными и нетерпимыми из-за неудачных попыток убедить всех и вся в своих «универсальных истинах», и устав от бесполезной, с их точки зрения, аргументации, преисполнившись решимости действовать и покончить с пустыми разговорами, бесконечными прениями, они точат клинки, заряжают ружья и переходят от *слов к делу*, к крайним формам убеждения и пропаганды, и, в конечном итоге, к решающему аргументу — убийству и разрушению во имя Бога, Маркса, Суперструктуры, Отечества, Земли Предков, Демократии и Свободы Слова (на сегодняшний день

два последних являются самыми популярными поводами для массовой бойни) или чего-то еще.

Научное состязание аргументов, размышления и обсуждения привели к тому, что на некоторые из них навесили ярлык «научности». Эти «научные аргументы» относятся к числу тех, которые выдвигались по предписанному академическим сообществом ритуалам. И само академическое сообщество похоже на недоступный для людей замок, чьи посланцы стоят на страже царства науки и ее самого сакрального сокровища — *«разума»*. Вот почему дистрибьюторы научной чуши под вывеской священнодействующей Академии, а именно, университеты, играют особую роль в ограждении от посягательств и сохранении господствующего суеверия. Даже организационное устройство академического сообщества сходно с религиозными общинами. Европейские университеты возникли в недрах структур католической церкви и по всем основным признакам стали их образом и подобием, по существу, подставив Науку вместо Бога. В академическом сообществе, как прежде в церкви, чтобы стать ученым (получить дозволение высказывать свое мнение), адепт становился членом своего рода священного синклита ученых, пройдя через тщательно отрететированные обряды посвящения. Овладев академическими уставами и подчинившись сводам правил подобающего уважения, адепт становился «доктором». В католической церкви «доктором» считался видный богослов, «вероучитель», объявленный «разумным толкователем церковной доктрины», которому впоследствии ставилась задача *воздействия на умы, т.е. идеологической обработки* ее последователей. Итак, в европейских университетах точно так же, как в церкви, академическим докторам предписывалось воздействие на умы покорных студентов — теперь уже с позиций научной веры.

Традиция, связанная со словом «доктор», восходит к еще более давним временам и имеет прямое отношение к магам, колдунам, чародеям, знахарям и шаманам, т.е. к профессиям, по чьим стопам идут наши современные профессора; правда, наши, пожалуй, более спокойны, не-принужденны, менее суетливы, менее шумливы на публике; все хоралы, заклинания и дымовые завесы только на бумаге, только в словах, в наши дни — это ловкие, искусные языковые ухищрения. — Я провожу такое сравнение, *отнюдь не только* иронизируя, вернее, я искренне считаю, что мы все выиграем от осознания того, что хорошо приглаженные и причесанные доктрины современной профессуры — это не что иное, как самая последняя метка предрассудков и суеверия.

«Наука» есть то, что облеченные властью авторитеты провозглашают наукой, подобно тому, как для какой-то конкретной религиозной общины «Бог» — это то, что объявлено таковым религиозной верхушкой. — Наука и религия по глубинной своей сути — лишь только состязание аргументов. Но это состязание на извращенном рынке, сдерживаемом властью и скрытом под бесконечными наслоениями предрассудков. Наука кажется занятием серьезным, и профессора излучают научную уверенность, но если смотреть глубже, то между современными социальными науками и любыми иными проявлениями примитивного мышления во всей истории человечества, в сущности, нет никакой глубокой разницы. Колдуны, чародеи, знахари, профессора — все они олицетворяют одни и те же традиции, свойственные элите, претендующей на владение знанием, скрытым от обычных людей, знанием, являющим собой образ вещи в сознании, но невидимым наяву, недостижимым для непосвященных.

Нам пора обозначить науку не как что-то существующее, подобно существованию «вещи», не как свод неких

покрытых тайной сведений или неких конечных секретов, а как процесс выстраивания иерархии, или, как теперь принято выражаться, рейтинга тех аргументов, которые называются сугубо «научными знаниями». Наука — это все то, что признается наукой. — А правила, границы, обозначающие науку, формируются в языке, в специальных языковых играх науки.

Каким бы скромным ни был успех, к развитию прагматичной философии — прагматичного мировоззрения — привело не появление новых учений, а просто усиление конкуренции, расширение свобод и свобод личности и возможности подвергать что-то сомнению и высказывать свои сомнения, ибо, несмотря на мои звучащие выше пессимистические нотки в отношении засилья научных предрассудков, сегодня мы все же наблюдаем усиление тенденции к сдаче позиций формально признанных учений и академического сообщества¹. Отношение к профессуре и ее взглядам остается по-прежнему благоговейным по форме, даже несмотря на то, что суть их учений не пользуется таким уважением и спросом. По сути, в реальной жизни, на практике эти учения выдыхаются, теряют свою актуальность и востребованность не потому, что имеет место осознанное противостояние, а просто по ходу жизни, такой, как мы ее проживаем, без особого напряжения. Всю необходимую информацию можно найти в Интернете, в книжных магазинах и библиотеках. Кроме обеспечения условий для естественнонаучной и экспериментальной работы, у университетов остались две важных

¹ Но когда исчезает одно, приходит другое. Академическая наука теряет под собой почву, но появляется другой, более мощный и жестокий монстр, более абсолютный и тоталитарный, чем что-либо пережитое человечеством; пропагандистская машина находится на подъеме, словно воздушный шар на горизонте, прибирая к рукам действительность с помощью тиражируемых ею образов и давления на сознание.

функции: они играют роль центров проведения встреч интересующихся наукой людей, — по сути, это еще одна черта, сильно напоминающая церковь, — а также служат местом для расширения собственного кругозора, чтобы стать, как говорят, образованным и культурным человеком. Однако если последняя задача — это то, к чему мы действительно стремимся (собственно, иначе и быть не может), то тогда университетские учебные программы нужно сильно перетряхнуть, наполовину сократить преподавание так называемых позитивистских знаний, — иными словами того, что втолковывается студентам, — составляющих 90% всей учебной программы, а взамен вернуть нечто похожее на учебную программу французских и британских университетов на пороге 20-го столетия, где упор делался на преподавание истории, литературы, искусств и языков, — и даже физическое воспитание и просто спорт стоило бы включить в обязательную программу университетов, — т.е. все то, что реально готовит людей к жизни, экономической деятельности, науке и что на самом деле дает шанс на реальный человеческий прогресс.

Но все же с глубоким вздохом облегчения можно отметить, что в любом случае престижность господствующих в университетах современных учений и доктрин потихонечку маргинализуется точно так же, как это происходило с религией, которой пришлось сдать свои позиции, хотя церковь и обряды по-прежнему пользуются уважением, но уже не как средоточие жизни.

В этой связи я не могу удержаться, чтобы не высказать свою точку зрения на то, что считать древнейшей профессией, ибо я не могу согласиться с утверждением, что древнейшей считается профессия проститутки. В числе моих кандидатов на это почетное место мужчины, облаченные в тесные одежды морали, окутывающие сущ-

ность магических заклинаний, бессмыслицы и лжи, аферисты и мошенники, пробравшиеся во власть благодаря своему фиглярству, чародеи, те же профессора, просто переодетые в другие одежды. Второй древнейшей профессией стала профессия воина, профессионального убийцы. Третьей — профессия судьи, который внес некую толику здравого смысла в игру, сотворенную первыми двумя, а бедная женщина просто-напросто стала жертвой их всех.

ВСЁ — ТВОРЧЕСТВО

Кроме аргументов из научных языковых игр, есть другие доводы, аргументы, относящиеся к гораздо более глубокому, основательному осмыслению жизни, аргументы для более точного и углубленного описания внутреннего брожения жизненных процессов. Они не соответствуют сакральным критериям науки. Под этими аргументами я имею в виду то, как мы выражаем себя в искусстве, во всех его проявлениях, во всех его бесконечных вариациях, выражения чувств, воспроизводимых художниками, выражения людей в повседневной жизни, в живом творчестве социальной практики.

Человеком движет восприятие творчества, художественно-творческое начало. В творчестве он дает выход своим чувствам, всем чувствам в вечном состязании, состязании внутри себя и вовне. — Выше уже была приведена ссылка на Эйнштейна, его мысли об относительности языка, знания и социальной практики, но я полагаю, что еще одна отсылка к нему поможет мне здесь подчеркнуть главное, подчеркнуть превосходство творчества и толкования чувств, превосходство над так называемой наукой (т.е. той особой формой искусства, которую на-

зывают наукой). Его теория относительности гласит: «Чувства и желание лежат в основе всех человеческих стремлений и достижений, какими возвышенными они бы ни казались»¹. — («Чувство» и «желание»: желание — это стремление к удовольствию, а боль — это то, чем мы расплачиваемся за это).

Всё — творчество, даже *собственно наука* является не чем иным, как особой формой искусства, особым жанром, формалистическим, скучным и редко искренним, но все-таки искусством. Творчество — не всегда то, чему дается определение собственно творчества, ведь все сущее, все наше бытие, повседневные действия и поступки являются творчеством. Если хорошенько подумать, это становится понятным, однако в уме — научном уме — живет превратное представление, выстраивающее реальность совсем по-иному (можно сказать, по понятиям). Грамматика вещных восприятий искажает реальность в уме, а затем сама становится своего рода реальностью и одерживает верх над нею. В итоге в сознании вырастает непроходимая стена между реальностью и убеждением. Эта стена улавливает восприятия, делает их моментальные снимки и обращает их в вещную реальность, где все подлежит классификации, делению на категории и определению. Именно определения и есть святая святых науки и, между прочим, они представляют самую большую опасность. Определения — это то, чего так страстно желает человеческий рассудок, ему определения никогда не надоедают, это пища для ума, которой так жаждет тело, эта страсть словно встроена в самом биологическом организме. Но как раз эта особенность, это заблуждение и есть то, от чего нам нужно освободиться, освободиться от пут определений, классификаций, освободиться от грам-

¹ *Einstein A. The World As I See It. 2000, Citadel Press (Эйнштейн А. Мир, каким я его вижу). С. 24.*

матики вещного языка. И взамен нам нужно научиться осмыслять бесконечные вариации, бесконечные аспекты жизни — размерность, глубину, многогранные отношения — все сразу, все в одном и том же, все как аспекты одного единого.

Само существование человека — это творческое выражение длиною в жизнь; жизнь во всех своих проявлениях есть творчество. Наша речь есть творческое выражение толкования своих чувств. Любой момент жизни, бытия, поведения, высказывание и молчание — все это акты творчества людей. У одних творческое начало проявляется ярче, чем у других. Одни придают своему творчеству особое и явно выраженное значение, другие имеют лишь слабо осознанное представление о роли творчества в своей жизни, третьи занимаются творчеством просто в силу самого своего существования. Подчеркивание индивидуальности есть акт творчества. Стилей творчества так же много, как мгновений в жизни, каждое мгновение несет в себе новое выражение, а индивидуальность есть высшее проявление творчества, выражение чувства. — Стили в творчестве, как и все сущее, проявляются в бесконечных вариациях.

Творчество — это первопричина, а знание — это просто то, что нам таковым кажется. Это отражение творчества, отражение бытия, отображенное в социальной практике. Род человеческий назван *Homo Sapiens* — человек разумный. Какой обман! — Возможно, из-за бытовавшего мнения о том, что человек наделен самым ценным для науки сокровищем — некоей вещицей, называемой *разумом*. И не случайно это слово вошло в обиход в 1802 г. по случаю инаугурации научной фантастики в связи с ее двухсотлетием. Но сейчас нам пора понять, что разума же нет, человеческое знание, ум, разум можно найти лишь в сообществе людей, в социальных практиках, отражаю-

щих многовековые непреходящие традиции. — В момент откровения даже ученый признает, что в человеческом теле не обнаружено ни крупинки знания, но зато внетелесная жизнь полна намеков на нечто, напоминающее знание; это факт, который давно уже должен был бы перенаправить науку на поиск объяснения в социальной практике (может быть, следовало бы пойти по пути Протагора). — Человеческое существо не обладает умом, разумом, но у него есть воля, ощущение искусства и желание выразить себя в нем, привычки, некое творческое воображение, и все это проявляется в его бесконечных выражениях. А посему было бы лучше называть его *Homo Artisticus* — человек творческий (или, может быть, *Homo Creatine* — для обозначения «органической субстанции человеческой плоти»). Каждое действие или поступок человека пробуждается каким-то проявлением игры, уловкой, постоянной демонстрацией творческого и личностного начала. Каждое действие обусловлено творческой направленностью. Биологический организм, движимый творческим устремлением, — вот что такое человек. *Homo Artisticus* — человек творческий — не обладает знанием, умом, разумом, но у него есть склонность, аппетит, инстинктивная склонность и потребность в знании, которую он смакует, угощаясь тем, что накрыто на стол другими людьми, предшествующими поколениями. — Говоря о *смаковании* и *разумном*, небезынтересно отметить, как проявляется комедия познания через этимологию, историю слов. Дело в том, что в латыни оба слова связаны одним корнем: *sapor* — «вкус, аромат» и *sapere* — «иметь запах, аромат», т.е. слова — *смаковать* (*sapor*) и *разумный* (*sapiens*) — связаны общим латинским корнем *saporet* (*sapor*). У древних вкус и аромат тоже были на первом месте, и именно хорошим вкусом стали обозначать знание, ум и разум. — Проблема в нынешней науке, да и в жизни вообще в том, что вкус-то испортился!

Сознательное творчество, значит, искусство, и иная человеческая деятельность являются разными образцами творчества во всех его проявлениях на континууме — от повседневных ощущений — застенчивой улыбки, искушения, загадочности — до блистательной выставки произведений искусства в парижском Лувре. — «Континуум» — метафора, которую я часто использую для раскрытия идеи бесконечных вариаций, чтобы показать, что наши различия и альтернативы лучше воспринимать не как выбор из каких-то двух вариантов, а скорее как нюансы, которые лучше рассматривать как градации единого целого, грани одного и того же. — Но ведь континуум лишь направляет нас по правильному *пути* — и в этом случае слово *траектория*, пожалуй, более уместно, — континуум служит нам, как костыли служат калеке, пока мы ковляем со своим языком вещей, испытывая огромное желание обрести способность выражать чувства и их оттенки. Вот почему здесь мне необходима метафора, которая могла бы передать мысль о взаимосвязанности широкого спектра отношений, ассоциации всего со всем и вся... такая метафора, которая передавала бы все бесконечные вариации природы и мышления, сплетение, смешивание и перекрещивание вдоль и поперек бесчисленных ассоциаций в этих бесконечных вариациях и показывала бы, что никому не дано в одиночку управлять бесконечными отношениями и связями... Нам следует подумать об устройстве, напоминающем совмещение призмы, калейдоскопа и системы магниторезонансной томографии, о чем-то, позволяющем нам разглядеть все многосложные аспекты изнутри и извне, — все сразу, все вместе, но при этом создающем картину чего-то прозрачного, как хрусталь, а не сумбура, чего-то, поглощающего и отражающего свет, отражения с проблеском надежды. — Нам нужен язык, похожий на призму, для проецирования внутрен-

ней жизни на поверхность, для выражения всего спектра чувств в их бесконечных вариациях — от биологического ощущения боли и удовольствия до соответствующих ментальных стремлений.

Каждый человек — художник, в той или иной степени осознающий себя в творчестве, более или менее живой и яркий в выражении. В жизни всё — творчество. Наука — это творчество, бытие — это творчество, искусство в его специальном эстетическом смысле является всего лишь одним из проявлений творчества. Поэтому не следует предпринимать слишком уж серьезную попытку разделить проявления жизни на эти три вида, как будто они и в самом деле представляют собой четко разграниченные срезы жизни, некие вещные сущности, которые могут у нас быть, а могут и не быть, которые мы используем или не используем, которых у кого-то больше, а у кого-то меньше. — Нет, это не так, а всё — творчество, бывают только разные степени его проявления. Давайте условно назовем их: *творчество как бытие, наука*, и творчество в его современном значении, которое я предпочитаю называть *сознательным творчеством (т.е. искусством)*. Сознательное творчество — это то, что человек, считающий себя художником (по крайней мере, самим художником), сознательно делает для создания предметов искусства или воплощения художественных представлений, задуманных, чтобы *доставить эстетическое удовольствие* — или, скорее, *произвести эстетическое впечатление* (в этой связи хочу предостеречь против мысли о выделении эстетики исключительно как чего-то *доставляющего удовольствие*; я вернусь к этому вопросу немного дальше по тексту, где говорю *об эстетическом удовлетворении* как об одном из двух главных аспектов *эстетического чувства*, соответствующих двум основным составляющим жизни — боли и удовольствию).

Спорт — это творчество. Спортсмен — художник, безусловно, к примеру, футболист Рональдиньо является художником, и его спорт — это творчество.

Бизнес, коммерция — это творчество. Деловое предприятие — это творчество, сознательное искусство. — Предприниматель тоже художник в своем деле.

Танец — это творчество, не только балет, высокое искусство; обычный танец тоже творчество, и при этом люди прекрасно выражают себя в танце, бесспорно, гораздо лучше, чем в речи. И это происходит на отрезке континуума от хорошего до великого.

Бывает, что творчество повседневности доставляет больше удовольствия, чем собственно искусство. Зачастую только со временем качества и заслуги становятся заметными, задним числом, когда прошло время и стерлись ментальные ограничители, рухнули в уме разделительные перегородки, разграничивающие предметы и явления и делящие их по категориям, когда они подверглись размеренному разрушительному воздействию самого великого мастера творчества — Времени. То, что было предметом повседневности, становится предметом искусства. Это происходит, когда Время вновь обретается в памяти, пробуждаемой предметом, уже казавшимся забытым и навсегда стертым из памяти человечества, будь то память отдельного человека или коллективная память человечества, когда предмет повседневного обихода прошлого, неважно десятилетней или тысячелетней давности, возникает уже как вызывающее восхищение *художественное произведение* (все старое может превращаться в искусство, так, например, теории права Кельзена — это творчество, это своего рода комедия в стихах¹. — Проект

¹ В критике этой особой формы творчества я ссылаюсь на «Expressions and Interpretations». 2006, My Universities Press («Выражения и толкования»). Главы 12, 17 и 18.

Конституции ЕС — это произведение искусства, это трагикомедия¹. Сейчас мы можем смеяться, но добром это не кончится).

Религия — это творчество. Это искусство, заключающееся в попытке найти объяснение вечности, таинственности, началу и концу сущего. При этом я полагаю, что веру в существование *души* можно считать проекцией социальной практики, когда *внешнее смешивается с внутренним*.

Сознательное творчество, т.е. искусство — вопрос полезности. — В Википедии весьма удачно приведено популярное западное среднестатистическое восприятие науки. Там можно найти всякую всячину касательно научного предубеждения, например, такое интересное высказывание: «Искусство — это результат творческого начала человека, которому присуще некое предполагаемое *качество, выходящее за рамки полезности*, воспринимаемое, как правило, исходя из эстетической ценности и эмоционального воздействия». Итак, *качество, выходящее за рамки полезности*, устанавливается отличительным признаком, отделяющим творчество от других явлений человеческой жизни. Но спрашивается, как нам тогда быть в отношении артефактов, дошедших до нас из глубокой древности и культур, которые кажутся нам экзотическими? Ибо разве мы не восхищаемся ими как предметами искусства, хотя изначально они были предназначены служить предметами повседневного обихода? Это ведь для нас они утратили свою полезность и функциональность и стали лишь простыми образцами. Неужели такой образ мышления, а также наше восприятие предметов и жизни есть современная форма коллективной

¹ В критике этой особой формы творчества я ссылаюсь на «Expressions and Interpretations». 2006, My Universities Press («Выражения и толкования»). Глава 24.

болезни, дефект, обусловленный научным образом мышления, изъян, ведущий нас к попытке отделить красоту от жизни, чувство от бытия — изгнать творчество из жизни, сначала в сознании, а затем в практической реальности? Это заводит нас в порочный круг, в результате чего мы, по существу, превращаем путаное восприятие искусства — представление об искусстве как об особом срезе жизни, обособленном от нашей повседневности как она есть, — в виртуальную реальность. В давние времена в более близких к природе культурах не было такого строгого разделения между сознательным творчеством (искусством) и эстетическими ценностями повседневности; там эстетические соображения более осознанно проявлялись во всех жизненных аспектах. — По сути, в поп-арте Энди Уорхола в числе прочего показано, что эстетическая сторона присуща и бытовому аспекту нашей теперешней жизни, но это, в свою очередь, не означает, — или не должно так восприниматься, — что все *эстетическое обязательно* прекрасно. Исходя из этого, можно, например, рассматривать искусство Уорхола как эстетическое проявление того, что в современной жизни является безобразным и оскорбительным для чувств (хотя это, возможно, не то, что он имел в виду, или, по крайней мере, не то, что он имел в виду осознанно)¹.

Лишь недавно «искусство» приобрело в наших культурах значение «сознательного искусства», иными словами, творчества, замышляемого ради какой-то особой эстетической цели. Хотя различие между научным знанием (logos) и знанием в форме художественных сюжетов, часто именуемого поэтикой (mythos), было сделано уже в греческих традициях времен Платона и Аристотеля. Толь-

¹ Всесущность творчества можно более четко понять на примере творчества Антони Тапиеса, следующего традициям абстрактного экспрессионизма.

ко где-то в 18-м столетии (в Европе) наука стала постепенно отделяться от других форм творчества, стала занимать обособленное от искусства положение как вещь в себе, как свод истин якобы более совершенного свойства по сравнению с другими истинами. До той поры *творчество* означало ремесло, мастерство в любом деле, где приходилось проявлять свое умение, кропотливость, смекалку и знание дела в изготовлении искусных изделий (в искусстве, науке и ремеслах — все относилось к представлению об искусстве, отсюда в английском языке происходят названия ученых степеней, например, Master of Arts (магистр искусств) и Bachelor of Arts (бакалавр искусств). Естественно, — как уже должен заметить критически настроенный читатель, — образование этих ментальных границ совпадает с развитием науки и научного ума, разума.

ИСКУССТВО И ТОЛКОВАНИЕ ЧУВСТВ

Искусство есть поиск подлинного выражения толкования своих собственных чувств. — Из всего сказанного следует, что бытие, существование, человеческую жизнь всегда можно представить как процесс, в котором чувства отдельно взятого человека и выражения других людей постоянно переплетаются. Эту совокупность выражений можно назвать социальной практикой, ибо высказывать свои чувства можно только с помощью выражений, которые уже обработаны другими, до нас. Такая же взаимосвязь прослеживается в искусстве — это поиск собственного выражения толкования чувств, которые обретаются внутри себя, но опять-таки только через отображение внешнего. Это те же самые выражения и толкования социальной практики, всего нашего существования, — а

существование и есть творчество. Искусство (сознательная форма творчества) выделяется благодаря осознанной и целенаправленной попытке найти более совершенные средства, найти выражения, которые, пробившись сквозь поверхностный слой обыкновенности, проникают в самую глубину чувств.

Отталкиваясь от философии толкования чувств, мы полностью перевернули взгляды на познание того, как все происходит в мире, — и вместо науки признали первичность чувств; внутренний мир — это главное, там начало всего и оттуда все проистекает. И, таким образом, мы можем воспринимать произведение искусства как проецирование этих основополагающих внутренних чувств вовне. Это — искусство как отражение человеческих чувств, чувств, которые в ходе эволюции прорываются сквозь «твердое ядро» познания.

Аристотелева философия эстетики исходит из того, что *«удовольствие есть конечная цель прекрасного»*, что означает движение от объекта вовнутрь, как если бы объект существовал отдельно от своего создателя. — Поэтому я предлагаю пойти другим путем — от чувств к объекту, где *конечной целью творчества является толкование чувств*. — Следует обратить внимание на это и подвергнуть критике старые академические теории (т.е. теории Аристотеля) в том смысле, что они чересчур запутались в лабиринте *вещных заблуждений*, представлений о том, что существует *вещь*, предмет искусства, в который «прекрасное» включено как неотъемлемое свойство. В отличие от этих идей я предлагаю подойти к вопросу о сути искусства (или в широком смысле творчества) с точки зрения чувств, как к процессу, точно таким же образом, как вообще к символам для истолкования жизни, начиная с глубинных основ биологических процессов боли и удовольствия. Надо полностью отказаться от идеи

о том, что «прекрасное», которое является не чем иным, как вещным восприятием, не чем иным, как словом, может обладать способностью служить причиной чего угодно. — Конечно же, смущает, что вообще приходится писать о столь очевидном. Однако так часто бывает: то, что очевидно в науке, самые сокровенные знания, это как раз то, что само собой разумеется. И это очевидное становится банальным, когда мы обращаем на это внимание. Во многом наука и особенно социальные науки защищают банальность от беспристрастного наблюдения, и потому, когда мы указываем на элементарное недоразумение, это звучит для всех так, словно мы занимаемся не научным вопросом, а только подтверждаем бытовые истины. — Понимая это, нам нужно прекратить поиски *какой-то* причины, особенно *какой-то — одной — причины*, наоборот, теперь нам нужно искать *множество разных причин*, и вообще было бы гораздо лучше отказаться от концепции «причины» в целом и назвать их *«стимулами»*, ассоциациями, воздействующими на всё и вся в бесконечных вариациях. — Прекрасное, о котором было принято думать как о *вещи в себе*, оказывается лишь выражением, отображенным в предмете искусства, в художественном представлении, сжатым выражением всех стимулов, пробудивших чувство прекрасного. — В своем творчестве Пруст всегда утверждал, что подлинное искусство невозможно обнаружить на поверхности и что его надо искать за изображением, где-то за образом, оно в чувствах, в их толковании, в тех чувствах, которые художник выразил или, скорее, стремился выразить. Таким образом, для Пруста искусство означает взаимоотношение, умственное действие, направленное от сознания к сознанию, от сознания художника к сознанию зрителя, а от зрителя обратно в попытке распознать свои исходные чувства. А впоследствии чувству восприятия данного предмета ис-

куства суждено навсегда быть оттененным исходными чувствами, основанными на собственных переживаниях в прошлом. При этом у меня нет сомнений относительно того, что Пруст понимает «сознание» как метафору для всех наших запутанных восприятий, т.е. всего ментального груза, который мы носим в себе в виде наших чувств. И при этом мы можем быть уверены в том, что под «сознанием» он ни в коем случае не имел в виду *интеллект*. «Я понимал, что только лишь восприятие грубое, ошибочное заставляет нас считать, будто главное — это предмет, в действительности же главное — это сознание»¹. Через все творчество Пруста красной нитью проходит мысль о том, что «красота не заключается в предмете»². В одинаковой степени это отражает и его основополагающее философское понимание человеческой жизни и общества: ничто не является предметом — некоей вещной сущностью — и единственное, что у нас есть в жизни, — это просто наши представления, наши мысли, наши желания... чувства, которые мы переносим на предметы, а также реально существующие и вымышленные продукты (из всего этого следует его вывод, что воспоминания — это единственная твердая реальность, которая осталась у человека). И именно поэтому Пруст никогда не мог вскрыть какую-то одну сторону в человеке, не коснувшись сразу же другой или двух, трех других, пусть даже противоречивых сторон, все это служило кирпичиками для создания произведения искусства из каждого человека (подобно строительству средневекового готического собора), или, скорее, из персонажей, которых он создал. И именно поэтому он

¹ Пруст М. В поисках утраченного времени. Обретенное время. Амфора, 2006. С. 289.

² Proust M. «Chardin» in On Art and Literature. 1997, Carroll & Graf (Пруст М. «Шарден» // В сборнике «Об искусстве и литературе»). С. 334.

указывал на опасности риска «накладывать черты», которые мы на самом деле сами себе создаем, на внешность людей, встречающихся нам в жизни, когда «было бы правильнее на месте носа, щек и подбородка оставить пустые места, на которых играл бы отблеск наших желаний»¹.

Удовольствие — не цель прекрасного, цель — обретение *истинного толкования чувств* — это *удовольствие* или, пожалуй, хочется сказать *удовлетворение*, иными словами, такое выражение, которое удовлетворяет потребность выразить именно основополагающее глубокое чувство, и в этом смысле *удовольствие* можно в равной степени считать *удовлетворением чувства боли, отвращения, неприятия и отталкивания, значит, всего, что является противоположностью прекрасному*.

Я приравнивал бытие к толкованию чувств, а творчество к бытию, науку к искусству, а познание к толкованию чувств каждого человека, находящих свое отражение в социальной практике. Все это аспекты одного единого, поэтому их можно представить в любом порядке и в любых ассоциациях между собой, причем для описания одних и тех же идей можно пользоваться еще и самыми разными словами. Например, мы можем заменить слова *бытие* и *творчество* словами *язык* и *знание* и так далее во всевозможных комбинациях, но всегда возвращаемся к одной и той же основной мысли о выражениях и толкованиях — *бытие, творчество, наука...* — это выражения и толкования, отражающие чувства человека в социальном контексте.

¹ Пруст М. В поисках утраченного времени. Обретенное время. Амфора, 2006. С. 465–466.

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ЧУВСТВО БОЛИ И УДОВОЛЬСТВИЯ

«Красота образов идет впереди вещей, красота идей — за ними»¹.

Разговор об эстетическом чувстве возвращает нас к физическому, биологическому, к человеческому организму, где в извечном противоборстве боли и удовольствия рождаются чувства и складываются вечно меняющиеся представления о добре и зле. Творчество является отражением этой никогда не прекращающейся борьбы в бинарной противоположности боли и удовольствия, отражением сущности бытия, того, что дает жизнь и лишает ее; бинарное противоборство наблюдается во всех сторонах жизни, начиная с самых малых процессов в микроскопических клеточных структурах и заканчивая величайшими битвами между людьми на земле. А в творчестве это противоборство через выражения, через язык переносится в ментальную плоскость.

Выше я говорил о своей убежденности в том, что человеческая жизнь является нынешним кульминационным моментом процесса эволюции, приводимого в движение силой боли и удовольствия, где биологическое привело к возникновению животного, где борьба между болью и удовольствием перешла из эмоций и чувств в ментальную плоскость и далее достигла совершенства в человеческом, где ментальное измерение пребывает в поиске своего выражения в языке. — Поэтому я полагаю, что язык — это всего-навсего отражение того же самого бинарного противоборства боли и удовольствия, однако

¹ Proust M. (2003). In Search of Lost Time. Vol. VI: Time Regained. Modern Library. P. 355. Пруст М. В поисках утраченного времени. Обретенное время. С. 355.

сам язык, будучи самой последней стадией всеобщей эволюции, находится лишь в ранней фазе развития.

Боль и удовольствие — два столпа, вокруг которых складываются и развиваются все эстетические суждения. Обычно дискуссии об эстетике ведутся лишь в одном ракурсе — *удовольствия* — в сочетании с *красотой* и *добром*. Но при таком подходе затрагивается лишь одна сторона континуума — искусство и эстетика, а *безобразия* и *зло* — аспекты боли — на другой стороне континуума игнорируются в, так сказать, теоретической мысли. И поэтому для истинного осмысления искусства и эстетики в этой дискуссии нужно задействовать весь континуум боли и удовольствия. Я это делаю, рассуждая об *эстетическом чувстве*, разделенном на два субаспекта — *эстетического удовольствия* и *эстетического отвращения*. — [Поскольку ничего более подходящего в соответствующей литературе я не нашел, то я использовал термин «*эстетическое отвращение*» для соотнесения с «*эстетическим удовольствием*»; конечно, вместо этого можно было бы предложить другие термины, может быть, *эстетическое неприятие*]. — Этими рассуждениями я увязываю искусство и эстетику с *фундаментальной философией толкования чувств*, подчеркивая, что творчество, как и все остальное в жизни, — это поиск и проявление толкования чувств, и это опять же возвращает нас назад к выражениям и толкованиям (к состязанию восприятий), ко всему, что мы можем считать знанием, а также к рассуждениям о добре и зле, истинном и ложном.

Прекрасное в эстетике соответствует чему-то положительному, желаемому, удовольствию. Эстетическое отвращение соответствует тому, что вызывает отвращение, страх, чувство антипатии, боль, муку, отчаяние, горе, тоску, меланхолию, скорбь, неудобство, недовольство...

Искусство есть пространство для поиска истолкования чувств боли и удовольствия, попытка отличить хоро-

шее от плохого, распознать зло, разглядеть красоту. Все эти соображения одновременно действуют в каком-то одном месте, во всех измерениях ментальной плоскости и в то же время уходят корнями в физический, биологический организм человека, его внутренний мир. — В одном и том же выражении смешиваются и переплетаются отвращение и неприязнь, желаемое, прекрасное и безобразное.

В творчестве мы имеем дело с ментальными аспектами неизвестного и загадочного, с тем, что нам не дано познать, — о чем следует хранить молчание, но хранить молчание только в науке, ибо в искусстве мы как раз должны, обязаны найти способ выражения чувств, посредством искусства мы должны раздвинуть пределы того, что можно познать.

Когда своим выражением художнику удастся действительно пробить ментальный щит, отгораживающий наши восприятия друг от друга и от нашего собственного критического анализа, мы готовы превозносить его творение как истинный шедевр. Это случается, когда мы чувствуем, что художник действительно глубоко погрузился в таинственный мир своего тела, чтобы провести глубокие раскопки в скрытых чувствах, чтобы разобраться в них до мельчайших подробностей, исследовать и переисследовать их, далеко выходя из привычного состояния за грань поверхностного, внешнего и очевидного и доходя до мысли, возникающей из таящегося в глубине души переживания, а затем появляется оттуда, глубоко проникнув в суть нового чувства, уже с новым ощущением, с новым взглядом на жизнь, который он выносит из глубин своего естества и представляет на всеобщее обозрение, выражая тем самым что-то такое, что ранее было за пределом нашего понимания и осмысления.

Глубоко проникая в суть человеческой жизни, искусство с его новым взглядом означает прорыв в наступ-

лении на границы языка, расширение этих границ, расширение пределов уже познанного, и того, что можно познать. Вот почему искусство является авангардом человечества, авангардом с задачей преодолеть его извечную дихотомию, размыть границу между болью и удовольствием, пробиться через ментальный щит восприятий. Это касается того, как научиться отображать чувства боли и удовольствия, ухватить их в одном мгновении, в одном моменте, как аспекты одного и того же (Пруст: «Образ, что предлагала нам жизнь, в действительности дарил нам в ту минуту разнообразные, несходные друг с другом ощущения»¹). И все же, как раз из этих аспектов, когда мы уже научились воспринимать их как таковые, как оттенки мимолетных мгновений, нам приходится воссоздавать новое ощущение некоего целого, чего-то, напоминающего истину, но истину, которая, как нас учили, уже никогда не будет такой непоколебимой. Вместо этого она будет лишь тем, что мы воссоздали, но на сей раз с точностью, которую дает микроскоп или телескоп, как говаривал Пруст. Даже в этом мы замечаем противоречия аспектов, два на вид так далеко отстоящих друг от друга образа. Ведь после того, как мы проходим по всему кругу рассуждений, процессы рассматривания чего-то через телескоп и процессы рассматривания чего-то под микроскопом сводятся в единое осмысление жизни и ее главных составляющих, в которых нужно научиться разбираться, чтобы добраться до сути и основ, необходимых для ее осмысления. Пожалуй, микроскоп можно считать метафорой для толкования чувств, а телескоп — для осмысления социальной практики, по крайней мере, первое, я думаю, как раз и есть то, что имел в виду Пруст.

¹ Пруст М. В поисках утраченного времени. Обретенное время. Амфора, 2006. С. 258.

Эстетическое чувство, как и все в жизни, — это улица с двусторонним движением, с одновременным пробуждением чувства у себя внутри и размышлением над внешним выражением, или, может быть, просто улавливанием слабого проблеска неожиданного и беглого впечатления, попадающего в область бессознательного и соединяющегося с чувством в каких-то неведомых нам процессах. Следовательно, эстетическое чувство пробуждается при совпадении обоих ощущений, при достижении созвучности двух толкований чувств через их отражение в каком-то предмете, произведении искусства. Эти два чувства представляют собой подлинное переживание художника, выход которому он находит в своем произведении, и переживание зрителя при восприятии им этого произведения искусства, когда выражение сообразуется с пробуждающимся в нем самом чувством, нуждающимся в выходе в новом, доселе невиданном выражении. — В своем очерке о Шардене, одном из величайших французских живописцев 18-го века, Пруст в обращении к зрителю и художнику пишет: «ваше и его удовольствие настолько неотделимы друг от друга, что если он не смог уверовать в ваше, вы не сможете уверовать в его, и если он предпочел погрузиться в свое переживание и выразить его, вы неизбежно отречетесь от своего»¹.

Итак, нам нужно отнестись к произведению искусства как к проявлению интерпретации чувств самого художника, к чувствам, которые он воссоздает и переносит на свое произведение, переносит на предмет, и как к эстетическому чувству (боли или удовольствия), возникающему, когда интерпретация зрителем своих чувств созвучна вложенному в само произведение выражению (искусство как слияние двух переживаний: художника и

¹ Пруст М. «Chardin» in Art and Literature. 1997, Carroll & Graf («Шарден» // В сборнике «Об искусстве и литературе»). С. 325.

зрителя). — Мне кажется, Пруст пусть и не напрямую, но все же обращается к аналогичным соображениям при критике тенденции к обсуждению искусства как «предмета», значащего одно и то же для него и других «любителей искусства» за счет подавления «впечатления от произведения искусства». Это впечатление является остатком чувств художника, передавшихся Прусту благодаря выражению, вложенному в это произведение искусства. «Невыразимое» в произведении искусства как раз и есть то, «что мы ищем, к чему мы тянемся», однако именно потому, что мы считаем, будто это — «*невыразимое*», мы «стараясь избавиться от него» и тем самым утрачиваем «личное начало собственного впечатления»¹. — Мы видим, что здесь речь идет о процессе, в котором дважды выступают чьи-то субъективные чувства, во-первых, субъективные чувства художника как проекция его переживаний, а во-вторых, субъективные чувства зрителя с точки зрения его переживаний².

В конечном счете, творчество в его самом предельном проявлении есть любовь. Остановившись на этой мысли, я возвращаюсь к тому, что уже было сказано,

¹ Пруст М. В поисках утраченного времени. Обретенное время. Амфора, 2006. С. 261.

² Из всех ученых, с работами которых мне приходилось сталкиваться, Сьюзен Лангер ближе всех подошла к созданию представления об искусстве как толковании чувств, что можно проиллюстрировать на примере выдержки из ее работы: «Главной функцией искусства является объективизация чувства с тем, чтобы мы имели возможность созерцать и осмысливать его. Это формулировка так называемого «внутреннего переживания», «внутренней, духовной жизни», которых невозможно добиться в блуждающей рассудочной мысли, поскольку ее формы несоизмеримы с языковыми формами...» (Selden R. Theory of Criticism. 1990, Longman Group UK Limited. С. 317–318 (Селден Р. Теория критицизма). Интересно отметить, что бытует мнение о том, что взгляды Лангер на язык недалеки от точки зрения Витгенштейна. Это еще раз подтверждает, что для осмысления основ познания нужно разбираться в основах языка.

потому что все в жизни — и биологическое, и бытовое, и творческое все равно возвращает нас к вопросу о самом святом в жизни — любви и доверии, иначе говоря, к представлению о творчестве как стремлении к поиску выражения, созвучного толкованию чувств — чувств боли и удовольствия... Но там, по ту сторону боли и удовольствия — в конце пути — нас поджидает трофей или, по крайней мере, то, о чем мы мечтаем, и, может быть, мечтали когда-то в прошлом, — это любовь. Я полагаю, это, пожалуй, единственная имеющая смысл цель в жизни, хранить любовь в душе и выплескивать ее наружу, протягивать руки и касаться любви, отдавать и брать. И у меня кружится голова при мысли о том, что это, по сути, еще и самое научное устремление, дарованное людям жизнью и людьми — жизни.

Мне кажется, что большинство идей, которые я считаю оригинальными, уже где-то и кем-то высказаны, и поэтому новизну идей следует искать не в отдельных личных высказываниях, а в том, как выстраиваются аргументы, как они акцентируются и какая значимость придается различным аргументам. Благодаря новому расположению и перестановке отдельных аргументов мы создаем новую концептуальную основу мышления. Я сказал это для того, чтобы подготовить читателя к моей ссылке на художественное направление под названием экспрессионизм, которое, на мой взгляд, есть то же самое, пересказанное подлинным языком искусства, языком чувств, открывающее сознание для новой философии, для новых взглядов на науку, и которое, наряду с другими художественными движениями, раскрывает сознание людей для более широкого восприятия бесконечных жизненных вариаций. (При этом хочу заметить, что вообще надо задаться вопросом, есть ли большой смысл в попытке провести строгие границы между импрессионизмом и

экспрессионизмом, если не считать разницу в технике исполнения?). — То, что экспрессионисты впервые выразили в сознательном искусстве, затем проникло в язык и познание, открыло новые горизонты в человеческом сознании, благодаря чему теперь в обыденном языке мы можем выражать те же по своей сути идеи, которые до нас выражали художники языком своей кисти. — *Суть экспрессионизма* описывается теми же словами, что и мысль о толковании чувств; например, что это о «*субъективных чувствах*, возвышенных до уровня истолкования *объективных наблюдений*». Это высказывание отражает в принципе верную мысль, если только мы понимаем, что *объективных наблюдений* нет, и, по сути, есть только *субъективные восприятия*, восприятия, уже искаженные прошлыми верованиями. (Я бы даже отказался от слова «наблюдения», что само по себе уже звучит как понятие объективное, создавая впечатление чего-то слишком уж вещественно-предметного).

В определенном смысле все творчество есть экспрессионизм. Подразделение искусства или творческих движений на разные стили — это попытка внушить **силой** авторитета (то, что мы отвергаем *a priori*), какие выражения лучше всего приспособлены для передачи чувств. Я считаю, что это пустые слова, ибо теоретически годится любой стиль; важно только то, что выражения представляют собой подлинное проецирование своих чувств вовне. В искусстве никаких правил, никаких ограничений по стилю нет, и их вообще нельзя устанавливать. — Однако все же есть одно правило, свойственное творчеству в целом, всей жизни, всей достойной жизни, — это правило, согласно которому подлинное творчество и достойная жизнь должны быть проникнуты самым искренним и неподдельным выражением чувств, — без искренности и честного подхода не может быть никакого подлинного искусства. В искусстве это означает, что художник выс-

казывает то, что он действительно хочет сказать от души, невзирая ни на какие другие соображения, употребляя для этого столько слов, сколько ему нужно, или обходясь совсем немногими, или выражая себя в своих картинах, музыке, театральной игре — любыми средствами и любым способом, любым стилем.

СОЗНАТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО (ИСКУССТВО) — ЧУВСТВО, ВИДЕНИЕ И МАСТЕРСТВО

Существует три стороны искусства (при этом это относится и к творчеству в целом, а не только к его сознательной форме: в искусстве, пожалуй, можно только наблюдать разницу в степени интенсивности): мастерство, чувство и видение. Все три аспекта присутствуют в произведениях искусства, они воспринимаются как необходимые для раскрытия его глубины. — В отсутствие одной из этих сторон другие не проявляются, не находят своего отражения (и в данном случае вместо искусства все, на что мы можем рассчитывать, это создание научного произведения). Помимо этих соображений, требуется креативность, творческий порыв и воображение, как иные грани творчества, его движущие силы, дополняющие и усиливающие проявление всех других аспектов. — Время от времени следует возвращаться к необходимости подчеркнуть, что все перечисленные мною слова, категории и понятия, к примеру, *мастерство, чувство, видение, креативность, воображение* — не являются некими сущностями (вещами), в них нет никакой данности, это просто

имена для обозначения различных точек зрения, углов восприятия, взглядов. Но, тем не менее, эти слова имеют одинаковое значение для большинства людей, владеющих русским языком, поэтому они помогают сосредоточиться на главных моментах обсуждаемого предмета, и, таким образом, нельзя говорить, что они лишены смысла: ведь скорее, их можно сравнить с предметным стеклом микроскопа, — оно помогает видеть предмет, на который наведен микроскоп, но при этом ничего нельзя увидеть в самом стекле. И если бы мы обладали способностью абсолютно точно настраивать свои слова, то не было бы нужды в разных категориях и аспектах для описания элементов творчества, ибо тогда перед нами предстали бы только трения в бинарной противоположности боли и удовольствия, и мы осознали бы, что именно в творчестве заключается вся наша жизнь. — Я и теперь пытаюсь вдуматься в свою собственную мысль о том, что это — результат тренировок некоторых микроскопически малых вещей, но не вещей в себе, а движения, противостояния, и при этом уточняю, что в этом движении вещи создают ментальное (то есть нечто, чего нет, чего реально не существует). — Движение, само не являющееся вещью, создает вещи, которые рождают некое ментальное представление, которое опять-таки не является вещью, но также не является и движением. И все-таки, я полагаю, в этом есть смысл.

«Чувство» и «видение» соответствует «таланту» в том смысле, который вложил Пруст в свое высказывание на эту тему в очерке «Против Сент-Бёва»¹. Он утверждал, что талант — это «хороший вкус художника» и что это «единственный критерий духовного начала произведе-

¹ Пруст М. Against Sainte-Beuve (Против Сент-Бёва) // В сборнике. Proust M. On Art and Literature. 1997, Carroll & Graf (Об искусстве и литературе). С. 272.

ния искусства». Затем он обращается к таланту через его «самобытность», то есть утверждая, что «талант» есть тогда, когда есть «самобытность», а «самобытность» он соотносит с «искренностью», иными словами, «самобытность» есть тогда, когда есть «искренность», а затем он привносит «удовольствие» в упомянутые выше качества: «может быть, удовольствие служит критерием истинного таланта», — но это не просто какое-то удовольствие, это — *состояние радости* творца.

Мы можем осознавать необходимость одновременного присутствия всех этих аспектов, когда рассматриваем подлинное, созданное талантливой рукой произведение искусства, в котором, на первый взгляд, всё на месте, но на самом деле чего-то не хватает, где не хватает чувства, видения или мастерства. Великолепно выполненная копия известной картины, даже если это безупречная имитация выдающегося произведения искусства, может оказаться не в состоянии пробудить нужное эстетическое чувство, и часто так и случается с искушенным зрителем. То же относится и к песне: чья-то манера пения полностью подчиняет себе тональность, мелодию и ритм, технически безупречна, но при этом она абсолютно не трогает слушателя. Может, перед нами совершенное мастерство в смысле технического исполнения, но певцу недоставало чувства, и поэтому в эстетическом смысле его исполнение не стало подлинным искусством.

Видение есть способность охватить и осмыслить внешнее, жизнь вокруг себя и увязать это с обостренным творческим воображением — или такой творческий процесс, который предпочтительнее назвать *воображением*. Видение возникает тогда, когда воображение проникает сквозь заслон сознания и бросается в водоворот чувств, погружается в половодье биологических эмоций и улавливает редкостное, возвышенное чувство, цепляется за него, крепкой хваткой сжимает родившееся выражение,

ныряет в водоворот и вновь поднимается на поверхность, на свет со своим трофеем, единственным в своем роде чувством, которому суждено обрести бессмертие благодаря выражению в искусстве.

В изобразительных и исполнительских видах искусства, в музыке не связанные словесными ограничениями художники и музыканты, чувствующие себя более непринужденно и просто, могут даже при вполне заурядных способностях выражать себя мягче, нежнее, живее, демонстрируя бесконечные оттенки чувств. В литературе же это намного сложнее. Ведь литература — это неустанная тяжелая борьба, направленная на поиск выражений, созвучных чувствам, поиск подлинного выражения при заведомо скудном выборе. В литературе вообще можно создать нечто достойное только благодаря исключительному мастерству и таланту, но даже и тогда в большинстве случаев со сроком годности литературного продукта в течение всего нескольких десятков лет или в лучшем случае столетия (если только бренд автора не станет настолько уникальным, что в учебниках истории он будет объявлен мастером, — подобно всем тем философам, которыми нам положено восторгаться по той простой причине, что в прежние времена они привлекли к себе целую толпу приверженцев и таким образом сделали себе имя в философии).

Уровень мастерства (или его отсутствие) ограничивает все формы творчества, но именно в сочинительстве изъяны ощущаются сильнее, чем в каком-либо другом виде искусства, — может быть, поэтому лишь немногие необычайно одаренные писатели становятся нам так дороги, поднявшись на высоты, недостижимые для других. Иначе и быть не может, ведь писателю не на что опереться, у нас же нет даже самого необходимого для этого средства, поскольку нет языка для выражения чувств,

наш язык — язык вещей, негибкий, косный и застывший. Нет языка, к которому мы можем прибегнуть для описания чего-то идущего из глубины *сердца* для того, чтобы высказать что-то истинно сокровенное, и если сейчас читатель считает, что слово «сердце» звучит слишком романтично, я могу напомнить, что то же самое касается *мозга*, если взять более научное отображение познания, ибо мы одинаково не можем выразить вслух ни чувства, идущие от сердца, ни чувства, идущие от мозга, т.е. мнения, равно как и все те чувства, которые мы предпочитаем называть суждениями, разумом, рациональным мышлением. Проблема в том, что мы не можем даже добиться того, чтобы нас понимали на элементарном уровне, находясь в плену нашего языка и жестких ограничений, создаваемых традициями, социальной практикой, которые управляют познанием. Когда мы что-то пишем, то теряем гибкость и становимся похожими на больных, страдающих от хронических болей в пояснице, вынужденных сводить к минимуму свои движения, но которые, не удержавшись, нагибаются, вытягивают шею и становятся на цыпочки, чтобы дотянуться до спелого плода на ветке высоко над головой, подпрыгивают, дотягиваются, ловят его и падают на землю, корчась от боли, трясая головой, перекувыркиваются, поднимаются и продолжают свой путь... — то же происходит и с сочинительством: в голове роятся мириады мыслей, но при этом мы не можем выразить мысли и чувства так, как хотелось бы. Мы мечтаем о брейк-дансе с языком, но единственное, что мы можем сделать, это встать, поднять руки вверх и опустить их, развести в стороны и оставить эту попытку... или как бы оказываемся в положении 44-летнего человека, вдруг вынужденного пуститься в пляс с молодыми сотрудниками на новогодней корпоративной вечеринке, который выглядел бы глупо, если бы не количество выпитого и вежливость молодого поколения. — На свете еще так много

всего, о чем нужно сказать, но нам остается только кусать губы и мучиться от боли, терзаться от неспособности выразить себя, — страдать от тоски и страстного желания дотянуться до этого сладчайшего плода, висящего на самой высокой ветке над головой, гораздо выше нашего восприятия реальности.

Пруст прекрасно понимал бесконечные проблемы, из которых надо было искать выход при сочинении художественного произведения, проблемы, с которыми он так блистательно справился, совершив прорыв в искусстве, а также прорыв в языке, но прежде, чем он добился этого, ему пришлось преодолевать стоящие перед ним препятствия одно за другим. Я приведу следующую выдержку, чтобы показать, насколько здраво он подходил к ним: «(Какими бы неповторимыми ни старались мы сделать наши устные высказывания), на письме мы сообразуемся с некоторыми выработанными веками нормами человеческого общения, и мысль описать внешний вид того или иного предмета, находящего в нас отклик, — может быть, — является чем-то, что могло и не существовать, как мог бы не возникнуть обычай варить мясо или носить одежду, пойдя развитие цивилизации другим путем»¹.

Чувства по сути своей бесконечно сложнее, чем выражающий их язык. В литературе какой-то один аспект сводит на нет другие, тогда как в живых формах искусства все можно высказать одновременно, одним движением — в одном и том же выражении можно отразить множество аспектов. Один из способов разрешения этой дилеммы указан Прустом. — И осмелюсь предположить, что большинство согласится с тем, что он вполне успешно справился с этим. Дело в построении им длинных

¹ Пруст М. Against Sainte-Beuve (Против Сент-Бёва) // В сборнике: Proust M. On Art and Literature. 1997, Carroll & Graf (Об искусстве и литературе). С. 75.

предложений, объединяющих разные, — иногда противоположные, — мысли, идущие сплошной чередой. Именно таким путем ему удалось привнести в литературу то, как мы действительно мыслим и как должны мыслить, постоянно обдумывая самые разные аспекты какой-то одной проблемы, и, выражая их одной фразой, мы должны уходить от математического способа мышления и приписывания разным слагаемым мысли, знаков плюса и минуса, равно как и от дальнейших попыток собрать все знаки воедино, когда плюсы и минусы уничтожают друг друга. Напротив, все моменты за и против, правое и левое, синее и красное, плюсы и минусы должны оставаться, оставаться одновременно в наших мыслях, где для них нужно освободить место — для всех и сразу, словно в единой клетке. Именно из науки и математики, — да еще от военных (то есть из иерархии всех систем), — взята бредовая мысль о том, что предложения должны быть короткими и жестко выстроенными, что два слова с одинаковым значением (как предполагается, слова должны иметь значение), одинаково значимые или выражающие одну и ту же идею, не должны повторяться. Но я думаю, что как раз полезно передавать мысли множеством слов, близких по значению, так должно быть всегда, если, по мнению автора, эти слова вносят какой-то дополнительный нюанс, раскрывают и оттеняют значение, придаваемое данному описанию или образу. Это действительно одна из сторон проблемы ограничения человеческого мышления, привычка — усвоенное правило — отмахиваться от бесконечных вариаций мысли и сосредоточиваться на немногих словах и коротких, как военный приказ, фразах, сводя все к нескольким поверхностным аспектам, тогда как в реальности нужно выражать бесконечные вариации в одной мысли, и зачастую для этого требуется прибегнуть к более длинным фразам, где один оттенок дополняет дру-

гой или сам что-то берет от него и где все цвета и оттенки мышления сходятся в единое целое. — Все же и длинная фраза не является самоцелью, когда все срабатывает, краткость может оказаться более сильной и выразительной, когда писатель несколькими словами направляет познание в сторону чувства, которое он надеется пробудить в читателе и которое пробуждает, если является Мастером, вроде Франца Кафки и Германа Гессе. — И пусть процветает соединение краткости и кропотливого развертывания, символов, рождающих таинственное, загадочное или знакомое, — в литературе любые средства, любой стиль и любое их сочетание оправдывают цель, цель осуществления истинного толкования чувств.

СИМВОЛЫ

Искусство, язык — это попытка перевести чувства в выражения, выражения, которые *представляют собой бесконечное число* символов. Выражения — это символы. Так, у нас вещные символы вызывают чувства в сознании и там же подвергают их сомнению. — [Вот опять, по предшествующему предложению видно, как нам трудно освободиться от рабства языка вещей. Ведь мы говорим о том, что есть «число символов», словно речь идет о вещах, которые можно пересчитать, и употребляем слово «бесконечное». Оно, казалось бы, предназначено для того, чтобы выйти из заколдованного круга идей о вещах, которые могли бы существовать в определенном количестве, но не получается, ведь то, чего мы хотим, это то, чего нет, и то, что отражается лишь в символах, обозначающих существующее].

Все выражения, искусство в целом, все проявления творчества — это общение символами; малейший оборот

речи, самое незначительное выражение является символическим. Язык — это творчество, все наше бытие пронизано символикой. Мышление, познание являются процессами символическими. — Любые символы предназначены для отражения восприятий — восприятий в извечном соперничестве.

Метафоры, знаки, тропы, сравнения, фигуры речи... — все это по сути своей синонимы для понятия «символов», ведь смысл не меняется в зависимости от того, в какую из этих словесных оболочек нам хочется облечь мысль, идею. Отпугивает нас бытующая литературная и философская традиция, заключающаяся как раз в попытке классифицировать символы под какими-то из этих обозначений, словно символы, как вещные сущности, могут поддаться такой сортировке. Эти традиции, как все игры по понятиям, как все языковые игры, похожи на лукаво поставленные дорожные знаки, сбивающие сознание с пути и заставляющие его в решающий момент сделать поворот не туда. У нас символы вызывают воспоминания и создают в голове образы вещей. В сознании символ перерождается в вещь.

Мало того, что в своих притязаниях на научность нам следовало бы воздержаться от попытки провести различие между разнообразными способами употребления символов, нам в еще большей степени необходимо осознать, что никакой разницы между символами и иными словами или символами и иными образами не существует, — само употребление, само выражение и есть символ — причем всякий раз новый. Лучше осмыслить это по-другому, в том плане, что значение символа приобретает все, что в повествовании, в произведении искусства *выделяется* как фон для сюжета. Символическое значение придается путем выделения его среди других, и это мы делаем путем придания ему особого смыслового уда-

рения. Все, на что ложится особая смысловая нагрузка, приобретает значение символа.

Слово, любой иной символ, любой образ выполняет какую-то символическую функцию и становится символом только в определенном контексте, причем контекстом может служить любой повод, особенно значимый для создающего его человека, например, если кто-то надевает красный пиджак, когда все остальные одеты в черно-белое, то в данном контексте красный пиджак приобретает символический смысл, выражает что-то значимое для этого человека: может быть, это протест, может быть, форма рекламы какой-то марки, изделия или просто рекламирование того же предмета искусства, то есть человека в красном пиджаке.

Говоря о символах, мы, по сути, имеем в виду только то, что речь идет о попытке передать в конкретном контексте конкретный символический смысл с помощью того или иного знака, значения, значения подчеркиваемого именно выбором того самого приема, того самого выражения среди других возможных выражений.

У символа нет никакого объективного значения, независимого от контекста. Подобно буквам «А», «Б» и «В», слова и другие символы ничего не значат, ничего собой не представляют, они просто-напросто служат средством образования некоего значения, некоего смысла. Слова «яблоко», «идти», «и» — такие же символы, как буквы «Б», «В» и «П» или, скажем, смайлик ☺. Если взять семь букв и расположить их в следующем порядке — В-Ы-З-В-А-Т-Ь, то образуется слово, которое может нести в себе некое значение, например, оно может означать любое из следующего: пригласить, предложить явиться, потребовать, выкликнуть; породить, родить, создать, повлечь за собой, обусловить, иметь следствием, послужить причиной (или источником), дать начало, спровоцировать, воз-

будить (чувство), всколыхнуть, внушить, заронить, посеять, навеять, зажечь; заронить искру, пробудить к жизни. — Я сказал «*может* нести в себе значение», но раз *может*, то в чем же все-таки заключается это значение? Ведь все, что мы получили в итоге, пытаюсь передать значение символа В-Ы-З-В-А-Т-Ь, это перечень других символов. Эти слова перечислены в словаре синонимов¹ под основным словом «вызвать»; некоторые из них можно считать так называемыми синонимами этого слова, но думается, такая трактовка — это на самом деле попытка *расширения значения*. Я бы предпочел подытожить вышесказанное тем, что получился просто перечень других слов, других символов; слова, которые, на наш взгляд, могут вызывать ассоциации с искомым словом, и именно эта ассоциация и есть все, чего мы добились. В уме мы можем придать этим словам любые значения, но при более близком рассмотрении становится понятно, что все-таки каждое слово само по себе ничего отдельного не означает. Каждое слово может, в свою очередь, пробудить в памяти воспоминание о чем-то, с чем они связаны в отношении кого-то определенного, конкретного человека, значит, все знание кроется только в памяти человека, в субъективных воспоминаниях каждого конкретного человека в каждый конкретный момент. А что может означать слово «создать» вне определенного контекста? Опять-таки, оно может означать что угодно для кого угодно, и для подтверждения своих слов я мог бы пригрозить еще одной длинной выпиской из словаря, что вновь привело бы нас только к очередному набору слов, и так до бесконечности... Слова могут только соотноситься с другими словами и воспоминаниями, и лишь через такие ссылки и привязки можно отыскать смысл, или скорее ассоциации,

¹ Словарь синонимов русского языка. М.: Советская энциклопедия, 1968.

в лучшем случае истолкование, выражение чувства, выражение переживания. — Вернемся к начальному выбору букв, и на этот раз я располагаю буквы следующим образом — З-В-А-Т-Ь-В-Ы, при этом и видно, что на сей раз из такого выстраивания символов даже теоретически не получается никакого смысла, у нас нет никакого жизненного опыта, который подсказал бы нам, что должна означать такая аранжировка символов. Но давайте представим себе, что «Зватьвы» — название новой марки эксклюзивных духов. Итак, это сочетание символов стало новым словом, сложным, но интригующим и впоследствии значимым в разных контекстах. Например, одно для придумавшего его рекламного агентства, для директора выпускающей эти духи фирмы, считающего свою прибыль, и другое для женщины, получившей духи под этим названием в подарок от своего бывшего любовника. Вот так через какие-то сочетания символов можно придать особые значения чему угодно, причем самые разные для разных людей — для кого-то элитного продукта, для кого-то символ успешно раскручиваемого бренда, для кого-то любви, у кого-то символ вызывает воспоминание о незабываемом свидании в далекой стране. — По существу, так обстоит дело со всеми символами, всеми словами, например, с приведенными выше: если выхватить любое из них из контекста, оно не будет содержать никакого значения, или, пожалуй, значение демонстрации отсутствия какого-либо самостоятельного значения. — Значение, смысл всегда уникальны, неповторимы, являясь перед нами на мгновение частичкой воспоминания, промелькнувшего в памяти.

Символ сам по себе может только подразумевать некое значение, которое, в сущности, является субъективной мыслью, рожденной в сознании человека, старающегося облечь этот символ в нужное выражение, а с другой стороны, символ — это то, что истолковывают

другие. Даже человеку, который впервые произнес какое-то выражение, придется переосмыслить его значение, когда он снова столкнется со своим же высказыванием, со своим же произведением... Смысл передается только сочетанием символов.

Искусство в каждом контексте, как и все человеческое, опирается исключительно на традиции, но как раз традиции-то и расставляют ловушки, в которые попадает художник. Символы пронизывают познание и закрепляются в культурном наследии, в традициях. Они являются элементами познания; познание обретает форму в символах; традиции — культурное наследие — передают символы другим поколениям и образуют сеть, сеть человеческих убеждений, создающих тот контекст, в котором символ наполняется смыслом (если после всего вышеизложенного об этом стоит говорить). Традиции — это реальность, но одновременно и опасность, и шанс. Беда с символами в том, что они имеют обыкновение начинать жить собственной жизнью вне контекста, где они имели значение. В определенном смысле символы воспроизводятся в некоем ментальном каталоге, из которого они потом извлекаются для исполнения своей роли в искусстве, в процессе, напоминающем переработку мусора или, пожалуй, ношение одежды, уже бывшей в употреблении.

Нет ничего, кроме символов, которые мы можем призвать себе на выручку, пытаясь выразить свои чувства, символы, дошедшие до нас из прошлого, но, как видно, эти же символы, эти же способы выражения в равной мере являются той самой тюрьмой для художника, которую ему придется сокрушить, чтобы вырваться на свободу, чтобы дать свободу мысли, простор выражению, выражению чувств. — Художник должен во что бы то ни стало освободиться от магии символов. Символы, как заторы на дорогах, препятствуют свободному передвижению но-

вых выражений; учитывая, что наши выражения — это всего лишь своего рода емкости для доставки толкований чувств, мы осознаем, что эти заносчивые символы, напоминающие необузданную толпу, узурпировавшую власть в царстве познания, не дают зеленый свет поезду Его Величества Чувства.

Расставляя разные акценты, разные смысловые ударения и создавая различные сочетания символов, мы пытаемся найти нужные оттенки для выражения своих чувств, бесконечных аспектов своих ощущений и переживаний. В этом-то и заключается вызов искусства, художнику не пристало копировать бывшие в употреблении, обветшавшие символы, он должен найти свою, собственную только ему палитру символов, такие нюансы и оттенки, которые выражают его и только его чувства. «Истина в том, что подлинной свободой художника является только одно — самобытность»¹.

Все слова служат символами вещей или символами представлений былых времен, пролетевших мгновений. Применение символов и есть творчество, это касается всех его форм, но в высоком искусстве, чтобы достичь настоящего творческого успеха, чтобы создать выдающееся произведение искусства, надо уметь выбирать только из тех символов, которые подходят для воспроизведения именно и только тех чувств, что рождаются глубоко внутри человека, в его теле, из его тела. Искусство — попытка овладеть символами в общении между людьми, переиначить и упорядочить их, найти новые способы выражения с помощью перенастраивания символов, изобразить то, чего никогда не было раньше, возвыситься над символами, подчинить символы чувствам, а не чувства символам, овладеть символами, образовать новые символы, стать

¹ Carter W.C. Marcel Proust: A Life (Картер В.С. Марсель Пруст: Жизнеописание). С. 377.

мастерской символов, короче говоря, стать общением без препятствий. Художник подвергает сомнению избитые и обветшавшие символы, по возможности отвергает их, памятуя, что стоящая перед ним дилемма сводится к тому, что в то же время у него нет ничего, кроме символов, унаследованных от предков. И поэтому ради нового выражения, ради его верного отображения художник должен отправиться на поиски в то место, которое Пруст назвал «внутренней книгой художника, испещренной неизвестными знаками», символами, в расшифровке которых ему некому помочь, «ибо само это чтение тоже представляет собой акт творения», который ему предстоит совершить в безутешном одиночестве. К истокам этих символов, обитающих в глубинах источников, дающих начало чувствам и ощущениям, художника ведет интуиция и, движимый интуицией, он пытается освежиться из этого родника, утолить жажду в выражении невыразимого, жажду, оставшуюся, в конечном счете, неутоленной в глубине души. Эта мысль о неутолимом, с которой подавляющее большинство людей, — или правильнее сказать все, за редким исключением, — смиряются, и которая позволяет более или менее осознанно находить оправдания своему бездействию, оправдания полной обмана жизни, вместо того, чтобы утолить эту жажду, потушить этот пожар, подавить «интуицию, которая подсказывает цель, в то время как разум находит способы от нее уклониться»¹. — Художник становится художником, прислушиваясь к своей интуиции, и именно интуиция ведет его к неизведанным источникам, мимо которых в жизни проходят день за днем все остальные, которые не видят, но хотят видеть, действительно хотят, чтобы кто-то взял их за руку и отвел туда. И этот кто-то — художник. А для

¹ Пруст М. В поисках утраченного времени. Обретенное время. Амфора, 2006. С. 245–246.

того, чтобы привести их туда, художнику придется сначала сопротивляться, ему придется воспротивиться своим современникам и своему окружению, и поэтому все истинные художники принадлежат к одному и тому же творческому движению, которое называется Сопротивлением. Художник всегда противится чему-то, порой даже противится самому искушению противиться.

ЯЗЫК, ЯЗЫК, ЯЗЫК

Язык — нематериальный источник знаний; начиная с глубокой древности, все, о чем мы можем мыслить, все знания передавались и передаются от человека к человеку, от народа к народу — через поколения, эпохи и культуры. Но об этом знании мы можем говорить только условно, оно неопределенно, непостоянно, что бы нам ни приходилось считать таковым; весь имеющийся у нас багаж знаний похож на летящий в воздухе шар — и больше ничего, у нас нет ничего такого ни в руках, ни в уме, ни даже в книгах. — К тому же еще и не один шар, ведь нам нужно расширить метафору и представить себе тысячи таких летящих в воздухе шаров, один шар для каждого слова или каждого выражения, и человечество, пытающееся, подобно жонглеру, удержать в воздухе все шары, — но все напрасно. Тысячи слов, выражений, шаров отскакивают друг от друга и взмывают обратно ввысь, время от времени некоторые из них падают на землю, в вечное забвение, унося с собой хранившуюся в этом выражении крупицу знаний, а может, и мудрость. Здесь следует заметить, что нет никакой причины рассчитывать на выживание наиболее приспособленных. — Было раскрыто немало спрятанных, зашифрованных в иероглифах сокровищ языка древних египтян, и, размышляя над этим чудом, не

следует забывать о том, что другие языки, по существу, навсегда сокрыты от наших глаз и ушей, но в то же время можно утешать себя тем, что они сохранились в языках, во всех наших языках, на которых сегодня говорят по всему свету. В них сохраняется память о прошедших по жизни поколениях — от начала времен до наших дней. В них сохраняются все наши привычки и манера поведения, все наши обычные поводы для радости и страданий, модели наших житейских и лукавых мыслей, — именно там пускает корни идея о том, что надо помогать страждущим, ближним, больным и бедным, там же гнездятся тайные помыслы о собственном обогащении, — и все закодировано в языке, в языке, являющемся своего рода энциклопедией истории человечества, которая у нас всегда при себе и к которой мы обращаемся, принимая решения о своих самых что ни на есть *современных* действиях, — ведь нам они кажутся современными, конечно же, гораздо современнее, чем, допустим, в жизни за полстолетие до нас, хотя на самом деле в масштабах истории разница между нашим и прошлым воспоминанием — не более чем один миг. Несмотря на исчезновение этих языков, этих способов выражения, — так же, как когда-нибудь исчезнут и наши, — они по-прежнему находят свое отражение в настоящем, как какие-то стороны жизни, как часть нашей самой что ни на есть обыденности, наших ночных сновидений; что-то из всего прошедшего живет в нас как частичка нашей нынешней сиюдневной реальности, всегда отражающаяся в нашем образе жизни, способе выражения и в наших поступках — так есть и так будет всегда.

С незапамятных времен язык есть просто-напросто функция, сумма человеческого общения от начала жизни до наших дней, общения во всех отношениях человека — от любви до ненависти (все те же две извечные стороны боли и удовольствия), ибо именно как память о мимолет-

ных отношениях в языке, в социальной практике рождаются суждения, слова и чувства, приобретается их окраска, в языке они как бы материализуются; именно так создается и приобретает форму, совершенствуется и порой деградирует современный образ мышления; именно так мы становимся тем, что мы представляем из себя сегодня, — все это происходит только в социальной практике в результате случайных связей, встреч общающихся друг с другом незнакомых людей, любящих и ненавидящих, в радости и горе.

Необходимо понимать, что история человечества, переданная в языке, — в языке, служащем своего рода Великой книгой наследия человечества, — это все, что у нас есть в смысле знания, и это знание является не чем иным, как сжатой формой выражений и истолкований того, о чем простые люди думали и говорили испокон веков. И надо понимать, что именно этот язык создает по-настоящему *виртуальную реальность*, в которой живут люди, ибо все, что мы делаем и о чем думаем, запрограммировано в языке, и именно языковые коды (язык в широком его смысле, включающий совокупность выражений, а не только слова) — это то, что мы употребляем для визуальных, слуховых и других видов ментального моделирования реальности, воспроизводимого в нашем теле и в нашем сознании. Затем преисполняемся желанием принимать всю эту нами же созданную виртуальную реальность за разумное мышление, благодаря которому мы, люди, стяжали себе такую славу лишь на фоне нами же созданных стандартов. — Компьютерные технологии под названием *виртуальная реальность* являются просто очередным наслоением на эти бесконечные имитационные модели, и они мало чем отличаются от того, что является привычным; мы, собственно, уже живем в моделируемом мире, мы зря называем этот очередной слой сугубо виртуально

моделированным, какое же еще моделирование нам нужно.

Прежде всего надо понять, что все, что нам известно, известно в языке, и все, что может быть известно, будет известно в языке, а язык — и, следовательно, знание складывается путем объединения и передачи выражений и толкований всех и каждого в общий фонд человеческого опыта, каковым является язык, и их непрерывного обмена в языке.

К тому же не нужно забывать, что в языке нет ничего грандиозного, что он далек от совершенства, что язык хорош настолько, насколько хорош способ говорения, насколько хороши и прочны традиции человечества — и это все.

В языке есть очень много плохого, даже ужасающего, нечто такое, от чего мы должны защищать себя, от чего нам надо защищать других и вообще все человечество, защищать от того, что в языке уничтожает здравый образ мышления, защищать от величайшей иллюзии — этого заблуждения вещного умозаключения, — иначе говоря, от искажений, которые заставляют нас трактовать слова (все подряд), словно они — разновидности вещей, значит, надо защищаться от привычки отводить словам в уме и в грамматике роль чего-то вещественного, рассуждать о них как о вещах и их движении. Эта величайшая иллюзия зиждется на еще большей иллюзии — на метаиллюзии, заблуждении высшего порядка — источнике всех иллюзий, связанных с рассмотрением *самого языка* как вещи, как Вещи Вещей — Res Regum. — Поскольку отдельные слова — не вещи, тем более нет языка в целом, язык представляет собой только штампы, шаблонные модели выражения, своего рода звуковые узоры, так давайте признаем этот факт и в науке. Язык — не вещь! — Языка нет, и тех, кто с этим высказыванием не согласен, я призываю

привести свои доказательства обратного, показать эту вещь, показать его как живой или мертвый, как физическую, химическую, биологическую массу, — ведь вещь непременно должна состоять из физического материала нашей живой природы, как и камни, и цветы, и капля воды. Вот поэтому я утверждаю, что звуки, которые мы называем языком, которые исходят от человека, но не являются вещами, — это отражение процесса, разного рода деятельности, традиций. Язык — это слова для обозначения звуков устной речи, способ выражения, манера говорить, стандартная форма поведения. Язык — это деятельность.

Языков нет, есть только более или менее схожая манера речи, то самое семейное сходство, о котором говорил Витгенштейн, подобия и различия. Языки, не будучи вещами, скорее являются выразителями традиций, миллионов лет подражания. А эти вошедшие в привычку традиции прошлого составляют основу современной речи. Так, в языке точка отсчета всегда заложена в прошлом.

Не языки *меняются*, нет такого *выражения и языка*, который мог бы либо измениться, либо остаться неизменным, а меняется манера поведения людей, манера подражания, объекты воспоминаний: манера говорения.

Язык не является некой реально существующей данностью, а представляет собой лишь отражение всего накопленного общечеловеческого опыта. Чем больше физическая и духовная близость людей, тем сильнее впечатление, что они говорят *на одном языке*. Употребление таких фигур речи, как «*говорить на одном и том же языке*», наводит на мысль о существовании ряда языков, в число которых входит «один и тот же». Мы не говорим на определенном языке, у нас просто похожая манера говорить, соответственно мы ходим похожим образом, но мы не *делаем одни и те же шаги и не имеем одинаковой походки*. — Речь, как отпечатки пальцев, уникальна для

каждого человека, несмотря на то, что все отпечатки пальцев в чем-то очень похожи, но вряд ли кто-то при этом сможет утверждать, что они одинаковы. — Но даже этот образ не годится, поскольку речь, в отличие от отпечатков пальцев, не является чем-то зафиксированным, а есть только непрерывно меняющаяся манера говорить. Это можно выразить по аналогии с древней философской мудростью: нельзя дважды облечь свои мысли в одно и то же выражение (но, как известно любому хорошему сыщику, те же отпечатки пальцев можно оставлять до бесконечности).

Например, нет английского языка, есть только своя манера говорить в Англии, Америке, Австралии или Техасе. Там же в Англии есть разные способы выражения на севере и юге и на всем пространстве между ними: в Йоркшире, Ланкашире, на востоке центральных графств Англии... или, еще точнее, манера говорить на юго-востоке: английский в районе дельты реки, различные звуки, произносимые в Танбридже и Тонбридже, от Маргейта до Мидуэя, лондонский кокни, безукоризненно правильный литературный язык, язык вещания BBC... или речь миссис Джоунс в отличие от миссис Блум, или речи миссис Блум 30 лет назад, когда она совсем молоденькой девушкой приехала из Австралии, или ее дочери, совсем еще юной девочки. — И, наконец, есть еще и евроанглийский, на котором пишу я. Есть миллионы способов говорения, но нет единого языка.

Поэтому неправильно, к примеру, утверждать, что «французский — красивый язык», вместо этого следовало бы сказать: «Французы унаследовали от своих предков манеру красиво говорить». Что ж, для удобства речи вполне подходит первое высказывание, однако для удобства мышления, а также ради науки нам следует помнить, что на самом деле истинным является второе.

Бесконечные вариации оказывают воздействие на язык, иначе говоря, на нашу манеру говорения: память, креативность, творческие помыслы, контакты с другими людьми, социокультурное воздействие, поведенческие и организационные модели и т.д. Нельзя найти двух человек, говорящих одним и тем же языком, так просто не может быть ни при каких условиях. Подобия и различия в языковых привычках наводят на мысль о том, что мог бы существовать некий общий язык, и мысль об общем языке, как любая сакральная идея, крепко засела в голове, вылившись в представление о том, что язык подобен вещной сущности с постоянными свойствами — верными или неверными, черными или белыми. Во всех странах и культурах из этих вещных наваждений образуется своего рода языковая полиция, появляются чрезвычайно сокрушающиеся по поводу языка люди, нелепые и доведенные до отчаяния в своем безудержном стремлении «уберечь язык», сохранить язык-вещь, восприятие, которое их зашоренный рассудок превратил все в ту же ужасную вещь, вещь, будущее которой они предрекают по-своему, словно в припадке религиозной одержимости, обладая, по их мнению, знанием священных и неприкосновенных свойств языка, то есть той вещи, которую они никогда не видели. Они отстаивают свое видение того, как он выглядит в реальности, хотя реальность-то они лишь создали у себя в голове. Они разговаривают так, словно входят в круг посвященных в физическое, химическое и биологическое строение этой вещи, ибо, разумеется, они должны согласиться, что раз нужно беречь «язык», то он — вещь, а раз это вещь, значит, она обладает материальными свойствами, и уж точно они должны понимать, что все объявленное постоянным должно быть вещью по определению. — Во многом язык — действительно поле битвы между силой авторитета и силой свободы. — Здесь я, безусловно,

готов согласиться с феминистками, утверждающими, что в языке сохраняется и отражается социальная предопределенность. Но, признавая это, в то же время следует иметь в виду, что в большинстве случаев властные отношения, которые передаются языком, не являются чем-то подчиненным какому-то определенному человеку. С другой стороны, нельзя забывать об умышленном манипулировании языком. Оно распространено гораздо больше, чем мы можем себе представить, и осуществляется целенаправленно и продуманно. На свете немало абсолютно конкретных людей, ежедневно занимающихся манипуляциями языком с целью подчинения других людей образу мыслей, приверженцами которого являются они сами и их хозяева. Так, например, немало журналистов зарабатывает себе на жизнь за счет профессионального извращения языка ради обслуживания политических или коммерческих целей владельца какого-то СМИ или какого-то другого лица, под чьим нажимом они работают. В связи с усиливающейся концентрацией контроля над СМИ в руках все более и более узкого круга людей во всем мире неслыханным масштабы приобретают извращения языка и подчинение языка средств массовой информации пропагандистским целям. Сегодня мы шагнули далеко за рубеж 1984 г., за пределы мрачных прогнозов Джорджа Оруэлла. Он даже и представить себе не мог искусности и ловкости нынешних пропагандистов-манипуляторов, сам он предрекал последовательное развитие открыто тоталитарного государства, взявшего под свой контроль все стороны жизни людей, включая язык, а через него — образ мыслей. Но те, кто подчиняет нынешние западные общества этой пропаганде, иными словами, узкий круг, кучка людей, нажимающих на тайные пружины, оказались хитрее и коварнее самых ловких и изобретательных интриганов, каких только мог нарисовать в

своем воображении Оруэлл. Они создали тоталитарную пропагандистскую машину в Соединенных Штатах и Европейском Союзе, сохранив при этом видимость, дымовую завесу демократии и свободы. Сегодня все сложилось не так, как предсказывал Оруэлл по поводу того, что государство будет управлять людьми посредством пропаганды в СМИ, то, как все сложилось, оказалось страшнее вдвойне, напоминая сценарий фильма ужасов. Именно СМИ присвоили себе роль власти, сохраняя при этом ауру отважных защитников прав человека и свободы слова. Именно владельцы СМИ и журналисты у них на побегушках стоят за извращением языка и мышления, служат инструментами тоталитарной власти над умами, людьми и нациями. — «Все животные равны, но некоторые равнее других», — утверждал Оруэлл. Сегодня в западных СМИ звучит: «У нас есть свобода слова, просто у владельцев СМИ ее больше, чем у других». — Рука об руку с развитием этой новой формы скрытой тоталитарной политической пропаганды идет подчинение людей коммерческой пропаганде, маркетингу и рекламе. — Сегодня величайшей угрозой человечеству, демократии, миру — гуманности вообще — является концентрация мощи западных СМИ в руках нескольких корпораций и небольшой кучки людей, а также тайная тоталитаристская пропаганда, которую они с помощью конкретного пропагандистского лобби распространяют по всему миру под маской самой невинной риторики в отношении демократии и свободы, вызывающей к самым сакральным ценностям европейских масс.

Мое представление о языке как о носителе социальной практики связано с осознанием того, что человеческое познание в целом строится на ментальном истолковании нашей сложной действительности. — Мы можем называть эти ментальные истолкования «восприятиями». В

восприятиях даже абстрактные идеи преобразуются в уме в некие вещные сущности аналогично вещам в природе. Восприятия подобны шаблонным моделям истолкований действительности, то есть они уже являются — *символами*. Восприятия формируются тем, что комплекс поведенческих поступков или моделей поведения идентифицируется, *упрощается*, облекается в словесные выражения и превращается в новые умозрительные абстракции, в восприятия. Таким образом, восприятие, ментальный образ, созданный «в уме», мысленно, становится *концептуальной реальностью* (можно даже сказать «реальности по понятиям»). Позднее восприятия проходят обряд крещения в языке, им присваивается имя, понятие. Затем понятие «наполняется содержанием», то есть ему придается вымышленное значение. Это умозрительное содержание включает в себя все субъективные моральные ценности, которые удушают бытие и которые складываются в результате сознательного и неосознанного соблюдения всех индивидуальных и групповых интересов, на котором строится жизнь человека (т.е. то, что мы называем моралью). Так, возникшее восприятие (и соответствующее понятие) уводит нас в сторону и заставляет считать их вещными сущностями, имеющими последствия для некоей самостоятельной жизни, а не просто различными вариантами точки зрения на то, как относиться к жизни. Как раз так мы стали воспринимать различные виды социальной практики, стороны жизни, именно как некие вещи, соседствующие друг с другом и остающиеся «над» нами, которые мы называем такими высокими словами, как «*право*», «*экономика*», «*демократия*», «*наука*», «*религия*» и т. д. (И вот почему некоторые думают, что можно экспортировать демократию в чужую страну, например, под маркой «Сделано в США»). Хотя на самом деле, речь идет только об именах, которыми мы

назвали эти стороны жизни, виды социальной практики и которые попросту отражают жизнь такой, как она есть. И опять же социальная практика передается и осмысливается в языке. И, в сущности, вся социальная практика — это всего лишь языковые игры, даже сами языки — сплошь языковые игры, иначе говоря, привычки с устоявшимися моделями, но без четко очерченных границ, — и при этом без каких-либо правил, за исключением, конечно же, тех, наличие которых предполагается самой социальной практикой¹. — Язык это просто самая общая и основополагающая социальная практика, игра высшей пробы.

КУРИЦА ИЛИ ЯЙЦО — ЧТО ПЕРВИЧНО — ЯЗЫК ИЛИ ЗНАНИЕ?

Что первично — язык или знание? На этот вопрос, в отличие от вопроса на засыпку, вроде «что появилось вначале — курица или яйцо», нет ответа, курица и яйцо рождаются одно от другого в процессе, который лучше всего назвать герменевтикой эволюции. На одной стадии процесса совершается возвратное движение к другой и так далее в бесконечной регрессии. — Но ведь с языком и знанием дело обстоит совсем иначе. Язык явно первичен, язык как таковой развивался эволюционным путем внутри физического организма, то есть в ходе того самого герменевтического процесса, а вот знание, вне всякого сомнения, является продуктом языка; язык суть среда

¹ Я ссылаюсь на концепцию языковых игр Людвиг Витгенштейна, например, в «Философских исследованиях». П. 66–68. Более подробно речь об этих идеях идет в книге «Expressions and Interpretations». 2006, My Universities Press («Выражения и толкования»). С. 225–227.

обитания и пространство, в котором развивается и раскрывается знание. — Это вовсе не означает, что знание в последующем не оказывает воздействия на язык. Оно это воздействие оказывает, причем затрагивая даже биологическую жизнь, жизнь и благополучие каждого человека и собственно природы — (я думаю, большинство согласится с тем, что человеческий язык пока что оказывает удручающее воздействие на природу). — Следует также признать, что в этой проблеме есть еще одна сторона — вопрос о «знании» как таковом. Что же мы понимаем под «знанием»? — Сам вопрос сродни критике философской идеи «априори». Я считаю, нет смысла называть «знанием» то, что уже интегрировано в состав биологического; отсюда, умение ходить или, скорее, способность ходить — это не знание, а физическое (биологическое) свойство. То же самое касается способности говорить. Это не знание, а физическое или биологическое свойство¹. Способность говорить есть физическое явление, однако впоследствии образуемые выражения таковыми не являются — *их нет*, они не существуют, выражения просто рождаются при проявлении этой физической способности. Точно так же плетущий паутину паук не обладает знанием о том, как это делается, у него есть интуитивная биологическая способность к этому. — С учетом вышесказанного я приберег

¹ Непонимание разницы между «знанием» и «способностью», как в выражении «знание языка» (или «умение говорить на языке»), и тем, что люди «обладают речевой способностью» (или «способностью к языкам»), лежит в основе вредных и потерпевших фиаско традиций лингвистической алхимии, отстаиваемых Ноамом Хомским. Однако необходимо подчеркнуть, что мы проявляем великодушие, называя все это *путаницей*, ведь эта теория настолько нелепа и так недвусмысленно отвергается всем процессом восприятия, жизненным опытом человека, а также открытиями в естественных науках (не в последнюю очередь нейробиологическими исследованиями), что я не исключил бы того, что нужно задать вопросом, не идет ли здесь речь о сплошном обмане. Ибо до такой степени в этих теориях отсутствует здравый смысл.

бы слово «знание» для обозначения способности человека размышлять, «строить предположения» с помощью языка.

ЯЗЫКОВЫЕ ТЕСТЫ — СИМУЛЯЦИИ

Выше я сослался на теорему Эйнштейна, касающуюся языка и знания. Напомню, что он утверждал: «Большая часть знаний и верований передана нам другими людьми с помощью языка, созданного этими же людьми». И теперь я предлагаю проверить эту гипотезу на опыте. Для этого я призываю читателя ознакомиться с результатами языковых симуляций, где с помощью языка показано, что знание есть исключительно продукт языка.

Симуляция 1: В Лондон пригласили пять человек из пяти разных стран, говорящих на разных языках. Никто из присутствующих не понимал друг друга. Все гости и хозяин — юристы. Все разместились в отдельных комнатах, из которых нельзя было видеть друг друга, но звуки из них можно было услышать. Каждого из них попросили представиться, указав свою профессию (не раскрывая больше никакой информации). Каждому для этого была отведена минута. — В результате, никто не понял ничего из сказанного другими, да и не мог понять, потому что у них не было общего языка. Поэтому ничего узнать из сказанного другими не удалось (за исключением некоей интуитивной информации, выведенной из манеры говорить, интонации и т.д., и действительно позже выяснилось, что благодаря этому, двое из испытуемых обнаружили, что среди них присутствуют юристы). Таким образом, отсутствие общего языка как бы сродни отсутствию

языка вообще, знания ничем не пополняются, т.е. никто ничего не узнал друг от друга.

Симуляция 2: Затем тест был повторен с группой англоговорящих испытуемых. В этом варианте всем участникам удалось рассказать друг другу о том, что они работают профессиональными юристами, таким образом, информация была передана, и становится понятным, что это означает то же самое, что «процесс создания знания». — Теперь предположим, что один из юристов сказал, что он священник, в этом случае информация поступила, но информация неправильная, значит, это тот род знания, который следовало бы назвать «дезинформацией» (или, может быть, «ложью») или чем-то похожим в зависимости от моральной ситуации вокруг данного высказывания.

Симуляция 3: Более упрощенный вариант теста. В этом варианте может быть задействован любой человек. Это работает так: пригласите кого-нибудь на встречу, сядьте в закрытой комнате, закройте глаза и помолчите в течение пяти минут. — Затем откройте глаза и начните беседу. Как только вами был задействован язык, начинает идти поток информации. — А теперь сравните первые пять минут молчания с последующими минутами: вы чувствуете, как все меняется, как только вы начали говорить. Значит, информация, знание поступает с помощью языка.

ЯЗЫКОМ ЕДИНЫМ

Общение, обмен идеями, мнениями, чувства — всё находит свое выражение в языке. Из этого следует, что и все проблемы в равной мере присутствуют в языке. Это то, что, по сути, стремился выразить Витгенштейн. С его точки зрения, все основные проблемы являются языко-

выми, вызванными «рассудком, набивающим себе шишки, наталкиваясь на границы языка»¹.

Именно с помощью языка мы объясняем, как построить убежище или ловушку, как залечить рану, как приготовить еду, как писать и читать. Овладев письмом и чтением (т.е. расширив употребление речи), человеческая культура совершила скачок — письмо и чтение дали людям возможность общаться между собой, даже с теми, кого в данный момент не было рядом, общаться, невзирая на физические расстояния или разрыв между поколениями. Благодаря литературе, люди прислушиваются к голосам своих предков и учатся чему-то новому, учатся на прошлом опыте (даже появляется возможность отвоевать крупницы знаний, которые не были переданы господствующими культурами, и в этом смысле появилось больше свободы). А приход письменности сделал возможным передачу идей и представлений будущим поколениям в надежде, как это было с Витгенштейном, что в один прекрасный день кто-то обратится к этим следам, источникам, пойдет по этому пути, разберется с оставленными предками следами и наметит пути к истинному знанию. А теперь представьте себе ситуацию, когда все умевшие читать и писать погибли, не успев передать свой язык новому поколению. При таком сценарии процесс становления человечества начался бы с нуля, пришлось бы вернуться к азам культуры. Даже если бы при этом уцелел весь мир и сохранилась вся мировая инфраструктура, даже тогда никто не смог бы направлять жизнь человека в обществе, приводить мир в движение. Никто не знал бы,

¹ «Итог философии — обнаружение тех или иных явных несуразниц и тех шишек, которые набивает рассудок, наталкиваясь на границы языка. Именно эти шишки и позволяют нам оценить значимость философских открытий». *Витгенштейн Людвиг*. Философские исследования. П. 119 (перевод: интернет-источник).

как построить автомобиль, прочитать книгу кулинарных рецептов или какие бы то ни было инструкции, не мог бы сказать, как *себя вести* (конечно же, *показать, да, показать, как это делают животные*), некому было бы заправлять горячее и готовить его к употреблению, лечить болезни и назначать лекарства... Совершенно очевидно, что все истинно человеческое передается в языке.

ВИТГЕНШТЕЙН VERSUS ПОППЕР — СМЫСЛ VERSUS БЕССМЫСЛИЦЫ

Для того чтобы проиллюстрировать, что значение языка состоит в формировании всего истинно человеческого, я хотел бы привлечь внимание к известной полемике между философами Людвигом Витгенштейном и Карлом Поппером, приведенной в книге под названием «Кочерга Витгенштейна»¹. Витгенштейн знал, — как знаю и я, взявший на вооружение разработанную им азбуку мышления, — что философских проблем нет, а есть только языковая путаница. Именно в этом заключается одна из главных отстаиваемых им идей, — если не *самая* главная (по крайней мере, это самый значимый аспект, касающийся сути философии как дисциплины). Он неоднократно утверждал это и демонстрировал самыми разными способами и по разным поводам, и именно это он стремился довести до сознания Карла Поппера. Однако, будучи заложником той самой языковой путаницы, Поппер отказывался прислушаться к его словам, отказывался поразмыслить над его высказываниями, и упорно продолжал идти своим путем, подобно тому, как эстрадный

¹ *Eidmow J., Edmonds D. (2005). Wittgenstein's Poker. Faber and Faber (Айдинау Дж., Эдмондс Д. Кочерга Витгенштейна).*

юморист ни о чем не беспокоится, уверенно держится на сцене, преисполненный абсолютной веры в свое искусстве, коль скоро публика хохочет над его словами. Он продолжал настаивать на том, что философия подразумевает «реальные проблемы, непосредственно касающиеся всего мира», не понимая, что между словами Витгенштейна и этим высказыванием в отношении «реальных проблем» нет никакой разницы, ибо Витгенштейн не утверждает, что якобы «реальных проблем» не существует, он говорит, что *эти реальные проблемы как раз и возникают от языковой путаницы*. Поэтому, покуда мы не разберемся с языковой путаницей, проблемы не исчезнут. До тех пор философы будут походить на мух, роящихся вокруг экскрементов, задаваясь вопросом, нравится им это или нет, вместо того, чтобы задуматься над тем, откуда они взялись и что это им дает.

В своей работе под названием «Голубая книга» Витгенштейн представил одно из своих самых решающих и убедительных суждений касательно философии, т.е. философских ошибок, утверждая, что «перед глазами у философов постоянно маячит научный метод и у них появляется непреодолимый соблазн задавать вопросы и отвечать на них так, как это заведено в науке. Эта тенденция является подлинным источником метафизики, которая увлекает философа в кромешную тьму»¹. — Интересно отметить, что теории Поппера, связанные с научным методом, однозначно являются результатом попытки перевести все философские — ментальные — проблемы (по аналогии с вещами) из мира природы на язык вещей, где все выражено по аналогии с естественными науками. (В этой связи хочу сослаться на книгу «Expressions and

¹ *Витгенштейн Людвиг. The Blue and Brown Books. 1965, Harper Toach Books (Голубая и коричневая книга). С. 18. Цитата приводится в несколько сокращенном виде.*

Interpretations» («Выражения и толкования»), в которой подробно останавливаюсь на метафизических теориях Поппера, представляющих собой своеобразную форму искусства метафизики).

Итак, Поппер не избавился от магии старых традиций лингвистической алхимии, традиций отсутствия сдержанности в утверждении под флагом науки всего, что вертится на языке, пребывая в блаженном неведении о физических реалиях окружающего нас мира (или, иными словами, Поппер хранил верность подлинным традициям западной науки, традициям искусных языковых манипуляций).

До полного погружения в алхимию социальных наук Поппер процветал как талантливый историк, и в результате снискал себе славу и завоевал прочное положение среди философских брендов, благодаря своей получившей широкое признание книге «*Открытое общество и его враги*», посвященной сущности тоталитаристской идеологии в традициях Платона, Аристотеля, Гегеля и Маркса. Вдохновленный успехом в отдельно взятой области исследования — *истории философии*, — он счел себя в равной степени компетентным для высказывания своих взглядов на основополагающие теории познания, философию науки, причем, судя по всему, никому не приходило в голову, что единственным общим моментом между этими двумя областями исследования было только слово «*философия*». В «Открытом обществе» Поппер пересказывает то, что он прочитал в исторических документах, — «кто, когда и что сказал». Но ведь главной задачей его теорий о сущности науки было не изложение уже кем-то до него сказанного, а собственные рассуждения о сущности науки, знания и познания на фоне эмпирического опыта, основанного на физической реальности, опыта и понимания, которых ему так и не хватило. Связь с этими двумя сторонами его работ действительно очень слабая,

однако же, благодаря своим успехам в истории, он стал признанным авторитетом в области теории науки. И все это наводит на мысль о голом короле, ибо Поппер и стал королем в философии, благодаря успеху «Открытого общества». Однако в его собственных «теориях настоящей наукой и не пахло, сплошь одно голословие. Все, что там было, — это восхищение брендом «Поппер». — Само явление «Поппер» и его последователи напоминают мне критику Прустом «признанных судей в литературе», ибо здесь речь идет о «судьях в философии». Он говорил: «Из десятилетия в десятилетие обновляется их пустословие ... их социальные, религиозные и политические идеи... приобретают сиюминутный размах, но, несмотря на это, обречены на недолгую жизнь, как и любые идеи, чья новизна может привлечь лишь невзыскательные умы, не нуждающиеся в доказательствах»¹.

Закрепив за собой философский бренд и получив признание, Поппер получил зеленый свет для развития на полном серьезе своих абсолютно бессмысленных теорий в области философии науки, известных как теории Мира 1, Мира 2 и Мира 3². Это своего рода научная фантастика, волшебные сказки для академического сообщества. — Идея Поппера заключалась в разделении «всего сущего» на три сферы (универсума). Эти три сферы включают — «Мир 1», содержащий «мир физики, химии и биологии», «Мир 2», содержащий «мир психологических состояний, диспозиций и процессов» (да, он утверждал, что *процессы существуют*), и «Мир 3», содержащий «совокупность объективных и абстрактных продуктов че-

¹ Пруст М. В поисках утраченного времени. Обретенное время. Амфора, 2006. С. 265.

² Более подробно критика теорий Поппера приведена в книге «Expressions and Interpretations». 2006, My Universities Press («Выражения и толкования»). С. 89–101 и 143–144.

ловеческого сознания — теорий, чисел и даже моделей общественного поведения и институтов, считающихся абстракциями» (по его уверениям, *абстракции существуют!*). — Следует заметить, как интересно слово «реальный» в его теориях стало обозначать теории «Мира 3», который содержит всевозможные абстрактные идеи сознания, вроде симфоний, чисел, эльфов и зеленых слоников — ведь все же они — продукты человеческого сознания.

По утверждению Поппера, «объективное знание в том виде, в котором оно находит свое отражение в книгах, записях на пленке, в компьютерной памяти, существует автономно от психологических или физических состояний, которые его создали и в которых оно находит свое отображение». — Как минимум это означает, что противоположность объективному знанию, а именно «субъективное незнание, непонимание», существует в равной степени автономно. — Достойно сожаления, что Поппер не дошел в науке хотя бы до того, чтобы осознать физическую реальность вещей, понять, что язык и знание являются не вещами, а всего лишь отражением социальной практики, выражениями и толкованиями, и, значит, просто восприятиями в состязании.

Для Поппера «*существование*» означает не биологическую и физическую реальность, а фигуру речи, языковую концепцию, плод научной фантазии. Он отверг возможность трактовать все эти идеи (по его мысли, «знания») как просто традиции минувших поколений, традиции, отраженные в языке. — Интересно отметить, что без помощи языка даже он сам не смог бы добиться того, чтобы его громкие заявления были услышаны, ибо в *реальном мире* при отсутствии языка не было бы никаких разговоров о знаменитом Поппере, от него и его теорий в лучшем случае осталась бы лишь кучка пепла. Только язык дает нам возможность обратить внимание на его

идеи, да и на само представление о *Поппере* со всеми его плюсами и минусами.

ЯЗЫК ВЕЩЕЙ

В языке, — и, следовательно, в мышлении, — мы формулируем предложения, в которых абстрактным идеям, по сути, отображающим восприятия, своего рода придумки, сочиненные в уме, предназначены *грамматические роли* имени существительного (действующего субъекта или объекта) по аналогии с тем, как мы грамматически трактуем вещи физического мира (в т.ч. человека). Двойная путаница возникает при смешении *одушевленных вещей*, например, человеческих существ, с *неодушевленными*, такими как деревья, горы, полезные ископаемые и т.д. Лингвисты называют это «реификацией» (отведением роли вещи, предмета чему-то абстрактному) и «антропоморфизмом» (очеловечиванием вещей, явлений и абстрактных представлений). — Наличие самой проблемы признается, но к ней относятся, как к курьезу, как к чему-то упоминаемому между прочим, хотя она и является частью фундаментальной проблемы науки, — или, пожалуй, *самой* фундаментальной проблемой, — и, следовательно, имеющей решающее значение для человечества. Никто не может охватить подлинный *масштаб проблемы* — отсутствует понимание того, что это проблема неимоверной сложности, проблема абсолютная, присутствующая в каждом предложении нашего языка. — Это можно проиллюстрировать, взглянув на предшествующее предложение *само по себе* (ведь даже использование слов «*само по себе*» является частью проблемы, предложение же не может быть *само по себе*). Давайте задумаемся над словами вроде «масштаб проблемы» — как у проблемы

может быть масштаб? — Я написал «проблема присутствует», но, конечно же, она не может *присутствовать*, присутствовать могут вещи, но никак не абстракции.

Непонимание и путаница закодированы в самой структуре языка, в *языке вещей*, в таком способе выражения, где все слова трактуются по аналогии с физической природой и ее явлениями, словно все непременно должно *быть, существовать*, — в манере употреблять язык, словно мы всегда твердим о вещах и их движении (словно рассказываем о событиях, происходящих прямо у нас на глазах). — Дилемма состоит в том, что нет способа выразить нечто нефизическое, как нет и безупречно чистого, верного способа выразить свои чувства. Любая попытка выразить свое чувство немедленно облекается в оболочку вещного языка. Мы приближаемся к истинному выражению чувств только в том, что отказываемся от мысли, что лишь нечто абсурдное, невообразимое атакует границы языка. — В этой связи прошу обратить внимание на то, что более подробно я остановился на проблемах языка вещей в книге «Выражения и толкования»¹. Там я, в частности, касаюсь научной стороны проблемы. — Непосредственно в науке эта проблема приводит к тому, что восприятиям определенных сторон жизни, таких как «право», «экономика», «демократия», «наука», отводится вещная роль в грамматике, а впоследствии — реально — в умах людей. — Все мы настолько увлекаемся своими представлениями, что невозможно избежать такого злоупотребления языком, но мы должны быть начеку и постоянно помнить о том, что мы являемся заложниками языка вещей, размышлять о поиске иных, более удачных, более естественных способах выражения мысли. Но с

¹ В книге «Expressions and Interpretations». 2006, My Universities Press («Выражения и толкования») см., в частности, главу 3 «Philosophy and Language» («Философия и язык») и главу 6 «The Thing» («Вещь»).

особой осторожностью следует подходить к выбору слов при формулировании наших наиважнейших научных суждений.

Я читал книги Джорджа Сороса, известного поклонника творчества Поппера, пытаюсь отыскать в них какой-то свежий взгляд, новую точку зрения на то, о чем говорил Поппер, хотя, честно говоря, должен признать, что особо на это и не надеялся. Однако при всем том я был приятно удивлен, обнаружив, что в плане философии написанное им оказалось не так плохо, как можно было бы ожидать в связи с его постоянными занимающими самое видное место ссылками на попперовский бренд. Впрочем, после прочтения четырех из его книг, пожалуй, возникло стойкое ощущение того, что в них г-н Сорос подошел к философии так же, как раньше к фондовым биржам, пытаюсь определить слабые стороны современной философской мысли и затем обратить их в коммерческую или политическую выгоду. Таким образом, взяв на вооружение этот воображаемый философский инструмент, он полагал, что сможет создать свой плацдарм для десанта в международную политику, — ведь раньше с помощью такой стратегии он же отвоевал фондовый рынок, — и все это ради дальнейшего недружественного поглощения всего мира, ну пусть даже не всего мира и не сразу, — мечтал он, — то хотя бы Восточной Европы с Россией. Однако в отношении России г-ну Соросу не удалось реализовать свой грандиозный план, но удалось одержать победы местного значения на более удаленных, периферийных рынках. В целом же его попытки провалились потому, что он не понял, что человеческое познание — это почти совершенный рынок, совершенный не в смысле качества, а в том, что на нем все люди думают, мыслят более или менее одинаково, движимые в своей активности одинаковыми соображениями и действующими

щие более или менее одинаковыми способами, одинаковыми методами; по сути дела, в основе поведения всех людей — участников этого глобального рынка под названием человечество, в большей или меньшей степени, — пусть хотя бы в среднем, — лежат те же самые источники боли и удовольствия и развившаяся на их основе социальная практика. На самом деле, г-н Сорос споткнулся и угодил в расставленную Поппером западню, в окончательно сформировавшуюся научную — и при этом абсолютно бессмысленную — идею Поппера о фальсифицируемости, которая полностью овладела его жаждущим наживы умом, ибо он считал, что благодаря новым уловкам ему удастся фальсифицировать саму жизнь (значит, современные социальные способы взаимодействия между людьми) так же, как прежде он (получив свои огромные финансовых прибыли) доказал неверность подходов всех остальных игроков на фондовой бирже. Но он не понял, что жизнь — это не фондовая биржа, жизнь — гораздо более совершенный рынок. Жизнь опутана многомерной сетью убеждений, в которой всегда приходится проникать в какой-то новый слой, и по существу там нечего фальсифицировать. Эту сеть невозможно фальсифицировать, ее можно только потихонечку изменить, а утверждать, что ее можно починить — это уже перебор. — Но на самом деле, в этой работе я хотел обратиться к трудам Сороса по несколько иным причинам. В его книгах есть несколько блестящих примеров *вещного заблуждения*, иначе говоря, того, как роль действующего лица отводится этой извращенности, словам и понятиям. Цитаты из его книг как раз придутся кстати для иллюстрации того, что такое вещное заблуждение, проблем вещного языка, проблем, которые по сути своей касаются всех нас; они касаются нашего способа выражения и нашего образа мышления. Ниже я приведу в качестве примеров

некоторые из перлов Сороса, чтобы показать, к чему приводит подобная извращенность.

Вот что утверждает Сорос:

«*Капитализм достиг* больших успехов в создании материальных благ» — Хотя мы же знаем, что их (что-то) «*создают*» люди, а вовсе не слово «капитализм»¹;

«*Научный метод совершил* потрясающие открытия и в технологическом отношении *позволил* обратить их в продуктивное использование»². — Хотя Соросу должно быть известно, что и *совершают*, и *позволяют* что-то люди; такого действия не оказывает восприятие, которое он называет «научным методом»;

«*Открытое общество* ничего не имеет против религии»³. — Посмотрите, как это похоже на волшебную сказку, когда сочетанию двух слов «открытое общество» отводится роль выразителя отношения к религии;

«*Свобода мысли* допускает критическое мышление, а *свобода выбора* позволяет рыночному механизму работать»⁴. — Теперь он считает эти два словосочетания сверхъестественными силами, которые и «мыслят» и «разрешают»;

«*Научный метод* смог выработать свои правила... *Научный метод* добился больших успехов в изучении природных явлений»⁵. — Попробуем представить себе г-на Сороса сидящим в удобном кресле возле камина, рядом с ним еще одно кресло, две чашки чая, две вазочки с датским печеньем — идет разговор между ним и «Научным

¹ *Soros G. (2000). Open Society [Reforming Global Capitalism]. Public Affairs, New York, USA. P. XII (Сорос Дж. Открытое общество [Реформируя глобальный капитализм]).*

² *Ibid. P. 123 и 124.*

³ *Ibid. P. 131.*

⁴ *Ibid. P. 131.*

⁵ *Soros G. (2006). The Age of Fallibility. Weidenfeld & Nicolson. P. 217. (Сорос Дж. Век подверженности ошибкам).*

Методом». Второе кресло пусто, вторая чашка чая налита до краев, беседу ведет один — г-н Сорос. Он поздравляет «Научный Метод» с успехами в науках, достигнутыми со времен Поппера. Сорос говорит, кресло пустует, с ним «Научный Метод» — а с нами люди, погруженные в свою нескончаемую социальную практику.

Я не могу представить себе более важную задачу, стоящую перед нами в философии, чем изучение употребления языка, а также его постоянная критика с целью овладеть более совершенным способом выражения чувств и суждений. Нам нужно освободить язык от ограничений, налагаемых *языком вещей* и зараженного им мышления. Точно так же, вместо того, чтобы впасть в ступор от тайн и загадок, которые являет нам язык, мы должны попытаться понять, что именно в языке создает эти тайны и загадки. Суть проблемы — в непонимании того, чем на самом деле является язык — неумение понять, что язык — это не вещь, а практика, наивысшее проявление социальной практики.

ПРАВО КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА — ПРАВОВАЯ ПРАКТИКА

Через изучение права я пришел к пониманию того, что вся человеческая деятельность и знания зафиксированы в социальной практике, а социальная практика — суть творчество и толкование чувств. Поэтому я рассматриваю право как прекрасный пример для иллюстрации этого представления. — Я предлагаю рассматривать пра-

восудие — и идею справедливости в целом — и право как отражение социальной практики, которая, в свою очередь, является отражением индивидуальных выражений и толкований, и именно они — выражения и толкования, социальная практика — создают нематериальную основу жизни человека в обществе, основу познания, того, что через мышление ведет к действиям. По моему мнению, «право» — это всего лишь определенное восприятие различных сторон жизни, определенных аспектов человеческого мышления, и такие определенные соображения ведут к выражениям и истолкованиям, которые просто считаются «правом». Суть моего представления о праве заключается в понимании того, что «право» не является некоей вещью, и именно это необходимо до конца осмыслить и выразить любыми способами. Право представляет собой исключительно восприятие определенных аспектов социальной практики; и при этом в *праве* в смысле юриспруденции мы можем говорить о *правовой практике* как о *социальной практике* в более узком смысле.

В другой плоскости мы можем определить право как *состязание аргументов*. Значит, право отражает именно ту социальную практику, которая связана с обменом аргументами, преследующими цель добиться в других людях определенного желаемого (нормативного) поведения. Более того, я бы даже сказал, что вся социальная практика строится на состязании аргументов, и что в «праве» мы, по сути, сталкиваемся с теми аргументами, которые выделены как сугубо «нормативные». Иначе говоря, направленные на принуждение (пусть даже мягкое) к такому поведению, которое люди склонны считать в первую очередь обязательным. По существу, эта особенность служит признаком права, указывающим на то, что *право* складывается из действий, которые человек, имеющий власть над другими (или стремящийся ее иметь), старает-

ся навязать всем остальным вопреки привычным, утвердившимся моделям поведения в обществе.

Осмысление права как *состязания аргументов*, отражающего социальную практику и оказывающего на нее воздействие, позволяет нам понять, что *правосудие* является результатом состязания аргументов, и, следовательно, может быть названо «*состязательным правосудием*».

Но это состязание аргументов ограничивается двумя естественными биологическими соображениями, образующими фундамент, на который должно опираться любое представление о правосудии и справедливости, фундамент правосудия. Я их называю исходными посылками правосудия. Они сводятся к *верховенству уважения к жизни человека* и *уважения к природной среде*, в которой он обитает. Правосудие, справедливость принадлежат отдельному человеку, каждому в отдельности, правосудие связано с жизнью, ибо со смертью человека уничтожается самая его основа. Вот почему право и жизнь настолько взаимосвязаны, настоящее право — это право на жизнь, на счастливую жизнь. Жизнь протекает в природе, так что природная среда составляет ее условие и, следовательно, служит единственным утилитарным фундаментом правосудия.

Показательным примером является метафорическое сравнение права и правосудия с медициной и здоровьем. Итак, я утверждаю, что суть права должна заключаться в обеспечении правосудия так же, как суть медицины — в укреплении здоровья. Вопреки этому взгляду, господствующие теории права можно сравнить с представлением, согласно которому путь к здоровью якобы лежит (исключительно) через хирургический стол, точно так же, как считается, что право — исключительно все то, что происходит в Верховном суде. Хирургу может принадлежать решающая роль во многих частных случаях при

спасении жизни и укреплении здоровья человека, но, конечно же, здоровье — категория в миллион раз шире хирургического вмешательства. Здоровье есть состояние тела как отображение многих сознательных и неосознанных привычек и действий, подчас предпринимаемых конкретно ради сохранения здоровья — режим питания, привычки и образ жизни, воздействие окружающей среды, спорт и досуг, комплекс оздоровительных мер, обмен мнениями между врачами, консультации, лекарства, витамины, свежий горный воздух, уменьшение стрессов, близость к любимому домашнему животному, любовь... Доктора и хирурги вмешиваются лишь в чрезвычайной ситуации, так же, как юристы и судьи влияют на право только в экстренных случаях. — Как и здесь, правосудие есть отображение жизненных условий человека; как и здоровье, правосудие рождается в социальной практике — (в узком смысле *правовой практике*). — *Бесконечные вариации физических ситуаций* оказывают воздействие на правосудие — *изо дня в день* — и *право* — это лишь то, как мы рассматриваем и понимаем совокупность этих вариаций.

Мы можем прибегнуть к другому сравнению, трактовать правовую практику по аналогии с игрой в хоккей на льду, традициями этой игры, ибо, как и *право* (иными словами, восприятия сторон жизни, относимых к нормативному порядку под названием «право»), развитие хоккея во времени шло постепенно, начавшись с незапамятных времен, пройдя через самые разные традиции, разные игры и разнообразные социальные игровые практики. По некоторым утверждениям, корни традиции игры в хоккей прослеживаются в игре, изображенной на рисунках в гробницах Бени-Гассана в Египте, которым 4 тысячи лет (что автоматически означает, что сама игра еще старше, поскольку, конечно же, она началась не с изображения игроков на рисунках, словно для занесения на

доску почета)¹. Как и другие традиции и практики, спортивные игры подвергаются изменениям, они развиваются, видоизменяются, появляются новые формы игры, а затем и новые игры. И корни наших традиций всегда следует искать в более ранних традициях, но все же мы не можем сказать, что на самом деле стало исходным элементом для сегодняшнего хоккея и как эти традиции развивались, как складывались нынешние формы игры в хоккей, в какой момент все, что было раньше, сформировалось в практику, именуемую сегодня *хоккеем на льду*. Мне кажется, что такого момента не найти в 4-тысячелетнем историческом периоде, куда мы заглянули, и такого момента в равной степени не найти и в более поздней истории хоккея (хотя, как во всем, что связано с историей, надо все-таки учитывать господствующую роль вкуса, и, конечно же, в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями историки—кулинары могут находить определяющие моменты в чем угодно). И, конечно, нам придется понять, что начало хоккея не восходит напрямую ни даже к традициям игры, изображенной на рисунках в гробнице Бени-Гассена, ни даже к игравшим в нее в то время людям. Современный хоккей — это продукт традиций разных культур, каждая из которых оказала влияние на последующие новейшие традиции того, что мы сегодня называем игрой в хоккей,— точно так же, как игра из Бени-Гассена стала итогом всех предшествовавших ей традиций. — По мнению современных историков, современный хоккей сложился в Канаде, точнее, по последним данным, его новейшие истоки прослеживаются от различных событий и мероприятий, проходивших в Университете Макгилла в Монреале, именно там в 1875–1880 гг.

¹ В абзаце по хоккею я пользуюсь информацией из материала Википедии и веб-сайтов Ассоциации хоккея Финляндии www.finhockey.fi/info/historia.

состоялись первые хоккейные матчи на крытом катке и были систематизированы и закреплены правила этой игры на льду (интересно отметить значение, которое играли закрепленные правила в ее дальнейшем развитии). Но все же, даже при этом историки продолжают отслеживать ее начало в различных «источниках», приводя такие свидетельства, как ирландский Устав Галуэя, в котором есть ссылка на «херлинг с мячиком хоккейными клюшками или палками», или шотландскую спортивную игру «шинти» и «ирландский травяной хоккей», завезенный иммигрантами из Европы в Северную Америку. — В 1825 г. некто сэр Джон Франклин в записках об экспедиции на Озеро Большого Медведя в Арктике отмечал, что «утренним спортивным занятием была игра в хоккей на льду...». А в 1843 г. офицер британской армии в Кингстоне писал о том, что «в этом году начал кататься на коньках, быстро научился и весело проводил время за игрой в хоккей на льду». — Игра складывалась постепенно; игра, в которой впервые использовали шайбу, а не мяч, состоялась в 1860 г. в Галифаксе (Новая Шотландия, Канада), а к 1893 г. традиции игры в хоккей распространились уже по всей Канаде, причем только в Монреале насчитывалась сотня команд, и теперь уже по всей стране стали создаваться хоккейные лиги.

Но все же сегодняшний хоккей не совсем похож на игру, в которую играли в студенческом городке Университета Макгилла в 1875 г. С тех пор многое изменилось; мало-помалу вносились небольшие уточнения, перестановки и усовершенствования, например, использование для лучшей защиты ног вратаря такого небольшого приспособления, придуманного в Виннипеге в конце 19-го века, как щитки, которые уже всюду использовались для игры в крикет. — С начала 20-го века в хоккей стали играть штатные профессиональные игроки. Со временем

правила игры превратились в правила НХЛ (Северо-Американской хоккейной лиги) и МХФ (Международной федерации хоккея на льду), в состав которых вошли европейские игроки (эти два свода правил можно сравнить с точно так же соперничающими между собой сборниками правил бухгалтерского учета — американских ОППБУ и европейских МСФО, хотя очевидно, что честная игра намного лучше гарантируется обоими сводами правил в игре в хоккей, нежели в бухгалтерии). — Вначале в игре допускались только обратные передачи шайбы от игрока к игроку, но после 1930-х положение изменилось, и стали допускаться прямые передачи. Вот это кардинальное изменение — попробуйте сыграть в хоккей по старым правилам и сразу почувствуете разницу, — и все же это та же самая игра под названием «хоккей на льду». Сегодня на льду соревнуются команды из 6 игроков, но когда только начинала складываться организованная форма игры, в состав команды входило 15 игроков, затем постепенно их число сократилось до 9, а потом до 7 и с течением времени дошло до 6 нынешних игроков. — Историческое развитие системы правил и штрафных удалений также шло постепенно с учетом множества практических соображений, к которым пришли люди, играя в хоккей. Время от времени возникала потребность в изменении правил, чтобы повысить темп игры или поддержать увеличение забиваемых голов, или усилить защиту игроков и зрителей, или обуздать жесткость игры, или наоборот, иногда для того, чтобы поощрить ее. Со временем выработалась четко отрегулированная система конкретных штрафных удалений с поля: 2 минуты за подножку, удар соперника локтем или за грубую игру; 5 минут за более серьезное нарушение правил игры; 10 минут за нарушение дисциплины или 10 минут за нарушение дисциплины плюс 2–5 минут за персональное нарушение;

удаление до конца игры или дисквалификация. — Почему 2 минуты, а не 3? Так сложилось в процессе исторического развития игры, в практике. Почему 5 минут вместо 2? Потому что более грубые нарушения игры караются более серьезными санкциями. Но тогда что же считать более грубым нарушением правил? Иначе говоря, более грубое нарушение — это то, что стало считаться таковым в истории социальной практики хоккея...

Правила, штрафные санкции являются составляющими *верховенства закона* (rule-of-law) в хоккее; но имеется в виду не только это, к ним добавляется целый ряд других соображений, есть, между прочим, еще и целое сообщество заинтересованных и связанных с игрой лиц: болельщики, широкая публика, инвесторы, спонсоры, пресса, даже общая правовая система оказывает воздействие на правовое регулирование хоккея (как международное право оказывает воздействие на юрисдикцию отдельной страны); все увязывается с тем, что можно считать верховенством закона в хоккее, то есть с тем, что считать правильным, а что нет. Однако даже при этом происходят постоянные изменения, потому что рассуждения о том, что такое право, меняются из раза в раз. Правила меняются по мере изменения самой игры. — Здесь мы можем провести сравнение с развитием правовой системы в России после распада Советского Союза. К сегодняшнему дню — 15 лет спустя после распада СССР — россиянам пришлось обучиться новой правовой игре, — по сути, не одной, а бесконечному количеству игр, чтобы каким-то образом постараться соотнести, увязать все стороны жизнеустройства, выявить все аргументы «за» и «против» по каждому вопросу, чтобы установить любую даже самую незначительную разницу, наладить некое равновесие между всевозможными соображениями, всеми бесконечными аргументами, которые прихо-

дится учитывать в нормальном сообществе, как в России, в том, что считать правильным или неправильным, допустимым или запретным, что считать чрезмерным и что адекватным. На Западе (условно говоря «на Западе», точнее сказать «в большинстве западных стран») процесс становления права шел более или менее эволюционным путем при развитии социальной практики без особых серьезных перебоев. Так, например, в Великобритании, по крайней мере, со времен римского завоевания непрерывное развитие общественных процессов продолжалось около 2 тысяч лет, однако в России эволюционный процесс и развитие общественных традиций в советский период были пресечены в корне, можно сказать, что во многом развитие права началось с нуля (под этим я имею в виду право как нормативную систему, но ни в коем случае не как моральные ценности или взгляды и суждения людей, смысл правосудия и чувство справедливости, в отношении которых в России никогда не отставали от Запада. Я должен признать, что сегодня я поставил бы этот вопрос совсем по-другому, поражаясь непробиваемой несправедливости западных лидеров и их ставшей совсем уже послушной прессе). И все же даже в микроскопическом хоккее мы по-прежнему спустя все эти годы, по существу, расходимся во взглядах даже в отношении того очень малого круга вопросов, который связан с хоккеем. Так, мы можем, например, задаваться вопросом, правильно ли в каком-то конкретном случае последовало удаление игрока на 2 минуты за задержку соперника клюшкой. Представим себе, что этот вопрос по-прежнему стоит спустя сотни лет и бесконечных разборов тысячами людей этого незначительного эпизода игры, этого микроскопически малого аспекта жизни (аспекта социальной практики), и сравним это с задачей, стоявшей в общественном и правовом поле перед Россией, которой пришлось нала-

живать и регулировать миллионы аспектов — всем миром и всех разом! Напрашивается вывод о том, что исторически россияне все-таки воистину чемпионы мира в этой игре, в этом виде социальной практики (ведь такой подвиг в столь сжатые сроки еще не удавалось совершить никому, да и не было нужды), а также в становлении свежих и здоровых общественных традиций после стольких лет отгороженности от свободной игры социальных практик, навязанной коммунистическим режимом, игравшим по состряпанному Карлом Марксом правилам.

В настоящее время играют в хоккей именно так, потому что впоследствии участие реально существующих людей в этой игре, и игроков, и болельщиков сделало ее такой не теоретически, а в ходе самой игры. Исходя из этих соображений, можно перейти к другой прямой аналогии с современным взглядом на право (значит, с тем ошибочным взглядом, который я критикую в этой книге) и представить себе правила игры в хоккей, как законы. Можно ли себе представить, что удастся научиться играть в хоккей, просто ознакомившись с правилами НХЛ, или тем паче, собрать хорошую команду из парней, прилежно заучивших наизусть правила, но при этом никогда в жизни не игравших в эту игру на коньках на скользком льду! — Но все же именно это твердят все те, кто критикует Россию. Они утверждают, что российский президент и законодательная власть потерпели неудачу, потому что общество не одним махом и не сразу научилось игре с правом по написанному в книгах, но ведь право, как хоккей, его нельзя выучить по книгам, а научиться можно только в процессе игры. Ведь хоккей не является некоей вещью, которой можно придать какую-то форму, а деятельность, как и право, — процесс, в котором можно только участвовать, да играть, играть в свободную социальную практику. Общество можно сравнить с большой

хоккейной командой или, скорее, с крупной лигой с бесчисленным количеством потенциальных команд, и представить себе, что на сегодняшний момент россияне играли в течение всего лишь 15 лет, после того, как под руководством президентов Ельцина и Путина началось настоящее введение правовых норм. До этого в России не было нормативной системы, а была совсем другая, вовсе не правовая система произвола, игра, где у любой из команд не было права на собственную стратегию, где кое-какими правами были наделены только арбитры, ставящие себя выше всех правил. Вопреки этическим правилам поведения в честной игре, критики набрасываются на Россию, сравнивая ее совсем еще юную игру со своими играми, в которые они играют вот уже сотни лет. Во всяком случае, по моему представлению, единственно честной критикой было бы откровенно сказать: «Это просто чудо, что они обучились игре под названием право за такое рекордно короткое время — всего за 15 лет, у нас на это ушли сотни лет». Да, именно, сотни лет, — может быть, даже и тысячи, — но поистине поразительным является то, что западные страны, бравирующие вековыми традициями верховенства права, на самом деле ненамного отличаются от сегодняшней России, и кто знает, как поменяются роли еще через 15 лет? — В Канаде еще в 19-м столетии в организованной игре в хоккей участвовали сотни команд. Там сильные традиции игры пустили корни в уже самой культуре страны, причем сегодня в хоккей играет 1,6% населения, поэтому канадцы играют в нее гораздо лучше, чем когда-либо. Игра стала важной составляющей их социальной практики. — Сравним, например, с Финляндией, где организованная игра между клубами началась только в 1928 г. Прошел 21 год, пока финны научились одерживать первые победы в играх на международном турнире, победив Норвегию со счетом

7:3 и Бельгию со счетом 17:2 на мировом чемпионате в 1949 г. И лишь в 1959 г. финны впервые одержали победу над соседней Швецией с радующим душу счетом 4:1. — До тех пор никаких замечательных достижений в социальной практике хоккея не было, но как бы то ни было, в 1968 г. была одержана невероятная, неожиданная победа над Канадой на Олимпийских играх в Гренобле со счетом 5:2. — В 1978 г. команда юниоров в возрасте до 18 лет завоевала победу на европейском чемпионате, открыв декаду побед юниорских команд. — Это произошло потому, что начали оправдывать себя результаты социальной практики. Играя, финны научились играть в хоккей. Успех заложен в культуре хоккея, с укреплением традиций игры пришел и успех. Появились юные звезды там, где раньше этого не могло быть. Именно благодаря набравшему силу сообществу хоккеистов, укреплению традиций, культурного фона появились даже выдающиеся игроки, юниоры, которые становились звездами на ледовом небосклоне. По всей стране дети начали играть в хоккей, смотреть хоккей, читать о хоккее и даже собирать наклейки с портретами своих любимых и игроков и команд (это тоже часть пути к успеху). — И именно поэтому позднее успех пришел и к взрослым командам (и как раз в этом заложен секрет побед взрослых команд), где играли ставшие мужчинами мальчики, вышедшие из этой культуры, выросшие на игре в хоккей в стране, которая сама выросла на хоккее: 1991 г. — Финляндия заняла уже третье место в игре на кубок Канады; 1992 г. — Прага — впервые серебряные медали на мировом чемпионате; 1994 г. — олимпийская бронза в Лиллехаммере, серебро на мировом чемпионате в Италии. — 1994 г. — в Финляндии открылся сотый крытый каток для игры в хоккей; более 3 млн зрителей за сезон игры в 1993–1994 гг. в стране с населением 5 млн человек; 1995 г. — ЗОЛОТО в Стокгольме;

1998 г. — олимпийская бронза в Нагано; 1998 г. — серебро на мировом чемпионате в Швейцарии; 1999 г. — опять серебро в Норвегии; 2000 г. — бронза в России; 2001 г. — серебро в Германии; 2006 г. — серебро на Олимпийских играх в Турине; 2007 г. — серебро на мировом чемпионате в Москве... Эти достижения в международных турнирах свидетельствуют прежде всего о сильной социальной практике игры в хоккей в этой маленькой стране, теперь уже занимающей 2-е место в мире по удельному весу хоккеистов, где в него играет 1,2% населения, уступая только Канаде, где удельный вес составляет 1,6%. — Ведь игру делают не только хоккеисты, она складывается из всего, что ее окружает, в частности, это касается менеджеров и тренеров, выбравших самые значимые и достойные особенности хоккейной культуры для воспитания молодого поколения в игре и подготовки взрослых игроков перед каждой игрой, отдающих все свои знания и навыки, все, что в их силах, ради победы; критиков — спортивных обозревателей, спонсоров, политиков — болельщиков, друзей и членов семьи, которые внесли свой вклад в достижение успеха, даже случайные прохожие, просто оказавшиеся в нужный момент в нужном месте и охваченные патриотическим порывом, поддержали команду в борьбе за победу. — И надо понимать, что, по сути дела, то же самое происходит и с правом, так развивается и право, право есть состязание аргументов, состязание на каждом уровне общественной жизни; и, очевидно, что и хоккей, и право лучше развиваются там, где царит свобода, где состязание осуществляется в условиях свободы и равноправия, где выведены из игры все те, кто не хочет жить по общим для всех правилам, так что иногда для достижения наших идеалов действительно нужны довольно-таки жесткие арбитры.

КЛОД ЛЕВИ-СТРОСС

Для понимания современной реальности — *современности и реальности* — нам придется выйти за пределы устоявшихся собственных предрассудков и попытаться разобраться в сути своих убеждений — а впоследствии своих же предрассудков, которые отражаются на убеждениях и предрассудках других. Ведь именно невежество и страх перед неизвестностью побуждает людей воспринимать ложные представления, вроде того, что в своем поведении другие люди, другие народы руководствуются примитивными верованиями, верой в волшебное исцеление, духов, а также первобытными обычаями, типичными для отсталых народов, хотя почему-то при этом считается, что эти же представления в их собственной культуре, в собственной семье, у себя в стране являются величайшими достижениями человечества, достижениями людей, которые в блаженном неведении считают себя самым цивилизованными из всех, — несмотря на то, что мериллом цивилизации для них служат всего лишь свои же собственные верования и обычаи. Окончательно сбивает людей с толку и не дает им взглянуть в лицо реальности технический прогресс. Техническое отставание считается признаком общей и духовной отсталости. Это сродни остроумной американской поговорке: «Если ты такой умный, почему такой бедный», предполагающей, что признаком мудрости является богатство, между тем, как многие известные в истории мыслители особо богатыми никогда не были, или же *были* богаты, как Людвиг Витгенштейн, который действительно *был* богат, но считал богатство обузой в жизни и избавился от своего огромного состояния, — поэтому люди, живущие в технически развитых и материально благополучных обществах, также относят себя к умникам и интеллектуалам, поскольку

живут в процветающем обществе, хотя ничто в жизни, за исключением материальной окружающей обстановки, не внушает доверия к этому утверждению. Напротив, глядя, например, на правящую верхушку Европейского Союза или на журналистов ведущих западных СМИ, однозначно приходишь к убеждению в обратном. Пока одни кружатся в танце вокруг тотемного столба и доводят себя до состояния транса с помощью истинно духовной формы искусства, другие доводят себя до исступления своей верой в вещественное существование определенных слов и понятий, в частности, «демократии», «верховенства закона (rule-of-law)», «науки» и «государства»; например, в таком государстве, как «Великобритания», которое, по их искреннему убеждению, обладает «волей». И люди становятся настолько невменяемыми от этих слов и их монотонного повторения, что позволяют своему сознанию поддаться пропаганде ненависти и алчности (ведь британская пресса является самым реальным источником такого рода зла). На них обрушивается целый поток внушений в прессе, чтобы они были готовы защищать эти слова, посылать армии солдат и баллистические ракеты с ядерными боеголовками против таких же мужчин и женщин — и их детей, — которые оказываются неспособными проникнуться художественными достоинствами этих волшебных слов. — Это магический круг суеверий, в бесконечном вращении которого те, кто считает себя выше предрассудков всех остальных, просто занимают другое положение. Подлинное волшебство заключается в способности вырваться из этого круга, остановить его вращение, обрести язык для истолкования чувств и превратить искусство ради искусства в магию бытия, всей жизни.

Все это сопровождается фантастической верой в исторический прогресс, в то, что жизнь складывалась в ходе исторического процесса, отмеченного постоянным рос-

том и все более успешными и удивительными свершениями, и что именно сегодня все это достигло своей высшей точки в жизни на главных улицах крупнейших западных городов. Однако же никакой высшей точки на самом деле не наблюдается, все, что мы имеем, — это нынешний баланс ошибок, всех исторических ошибок и заблуждений, накопленных человечеством на своем пути. И вот почему нам необходимо расширить свой горизонт, выработать соперничающие между собой взгляды на историю своих стран, чтобы мы, европейцы, получили возможность подняться над скудостью восприятия, односторонностью взгляда на прославленную европейскую историю. Но это необходимо сделать не только нам, европейцам, но и всем народам: китайцам — подняться над своим восприятием, индийцам — над своим и так далее. Необходимо понять, что при выходе за пределы нескольких эпических повествований каждого народа, которые представляют собой ритуальные верования в первопричины (к примеру, за нынешними чудесами стоят все героические подвиги европейской исторической мифологии), протекает жизнь во всех ее бесконечных вариациях с самого первого дня и на протяжении всего мирового исторического периода. И надо понимать, что в своей глубине, за поверхностными представлениями просто-напросто скрывается общая история всего человечества.

О том, как мало изменился человек, лучше всего свидетельствуют антропологические исследования. Конечно же, мы могли бы еще глубже познать суть жизни, если бы можно было осуществить давнюю мечту фантастов о путешествиях во времени назад в прошлое, и в известном смысле, именно это позволяет нам сделать антропология, а открывающееся при этом зрелище просто завораживает. Попадая в прошлое в антропологических повествованиях, мы встречаемся с людьми, с теми же

самыми типами людей, которых мы видим вокруг себя и сегодня, с людьми, которые отмечены теми же чертами, что и наши современники, и которые несут в себе те же идеи, то же безрассудство, жестокость и любовь. В сущности, на мой взгляд, это и есть то главное в жизни путешествие, которое мы должны попытаться совершить, ибо я считаю, что мы можем мысленно дотянуться до прошлого и обрести прошедшее время, и его обретение поможет сделать жизнь в настоящем богаче и полнее. Тут я не без задней мысли возвращаюсь к Марселю Прусту, правда, рискуя прослыть слишком заумным при пробуждении подобных ассоциаций, но даже в этом случае я не могу не сослаться на него, потому что искренне убежден в том, что дело обстоит именно так, и я ощущаю потребность выразить свое преклонение перед Прустом, так красиво сформулировавшим эту мысль (одну идею среди многих), превратив целый ворох самых разных соображений в ассоциации идей, перекрещивающихся в бесконечных вариациях, но всегда обращающихся к *воспоминаниям, утраченному и обретенному* времени. Путешествие в прошлое и назад, в которое он позвал нас, охватывающее жизнь общества в течение столетия, служит образцом того, как следует понимать и саму вечность, хотя в некотором смысле вечность уже заключена в протекании этого столетия и на 3 тысячах страниц его произведений.

Теперь, глубоко и с живым интересом задумавшись над этими проблемами, я ловлю себя на том, что приходится часто сталкиваться с впечатлениями, наводящими на мысли о связи между прошлым и настоящим, между прогрессом и развитием. Такие впечатления могут возникать, например, при проявлении шутливого осознания уважения к себе и положения хозяина момента, которое можно уловить в поведении молодого американского студента и в равной степени торговца на рынке, выходца из

Азии. Это наблюдение навевает мысль о том, как у них может быть настолько одинаковая мимика и позы, хотя их разделяет расстояние в тысячи миль, языки и культуры; как оба они могут сидеть в одинаковой позе, непринужденно откинувшись в одну сторону и опираясь всем телом на локоть, склонив голову набок к левому плечу, словно демонстрируя сочетание углубленности в себя, дружелюбия и шутливо-кокетливой застенчивости, как бы приманивая к себе какое-то чувство, пока, правда, не ясно какое; при этом поза тела связана с положением головы — свободным, расслабленным, но таким уверенным, словно они выказывают некое почтительное, смешанное с безразличием внимание к окружающему миру, и напускают на себя безучастный вид, хотя и смягчаемый поджатыми губами, растянутыми в нарождающейся улыбке, которой слегка приподнятая вверх середина нижней губы придает еще один крохотный нюанс, - нюанс, очередной оттенок, неотделимый от общего выражения именно этого лица, образуемого сочетанием чуточку опущенных вниз уголков четко очерченного рта, и складочек под глазами от напряжения скул, тогда как сами глаза устремлены вдаль как бы ни на что, но на самом деле внутрь себя; в то же время их задача — поддерживать связь с людьми вокруг себя, что выражается в слегка напряженном контуре глаз, как бы говорящем «мне в голову пришла счастливая мысль». Руки беспомощно сложены на животе, пальцы сомкнуты в замок, но не до конца, и обе руки, мягко касаясь друг друга, говорят о том, что эти орудия боли и удовольствия находятся в состоянии покоя, словно во время перемирия. — Как говорится, будто расслабленно откинута голова Джеймса Дина. Но даже несмотря на то, что американец мог видеть Дина на экране или подхватить это выражение у других, видевших актера в каком-то фильме, осмелюсь утверждать, исходя

из обстоятельств, что азиатский паренек вряд ли мог видеть фильм с его участием или подпасть под влияние оттуда в какой-то форме культурного обмена до такой степени, чтобы почерпнуть множество выражений для своей телесной грамматики; стало быть, все должно быть как раз наоборот. Оба они демонстрируют выражения, запрограммированные в теле и языке, проистекающие из жизни, имеющей общие корни, уходящие во тьму веков. И это наталкивает меня на мысль, что и социальная среда, к которой относятся эти выражения, по всей вероятности, была такой же тысячелетия назад, даже в столь далекие времена. Их происхождение связано со сходными жизненными условиями, хотя, по заявлениям наших ученых и журналистов, с той жизнью современный прогресс не имеет ничего общего. Но я считаю, что такая связь и общие корни на самом деле есть, полагаю при этом, что нашей наукой, философией — даже нашим искусством — в это привнесено очень мало, а технический прогресс, сбивающий нас с толку, случился только благодаря социальному соревнованию в процессе, перенесшем тех же самых людей из каменного века в новую обстановку. И все происходит подобно тому, как бедняк становится богачом, благодаря неожиданной удаче, и впоследствии занимает более заметное место в обществе, укрепляя при этом свое материальное состояние, а затем вольно или невольно не отказывает себе в удовольствии думать, что все находящееся вокруг создано им самим. — Это так, ведь мы, люди, актеры в большом общественном Театре Времени, призванные на разных этапах истории исполнять какую-то новую роль, в новых декорациях, новых костюмах, играем на этот раз в современной пьесе, в декорациях, которые кажутся не от мира сего, но, тем не менее, интрига вокруг нас остается неизменной, она же унаследована от предшествующих нам и еще более ран-

них поколений в бесконечных мысленных возвращениях в прошлое. — В этом театре все те же актеры, те же чувства и почти те же выражения.

Совсем недавно, подходя к завершению работы над этой книгой, я вместе с коллегами отмечал в одном из китайских ресторанов в Москве окончание сессии по корпоративному планированию. Я и раньше знал этот ресторан, поэтому и выбрал его как самый истинно китайский из всех, виденных мною в Европе. Он называется русским словом «Дружба» и является детищем программы культурного обмена между российским и китайским правительством, что объясняет его аутентичность, когда все — рецептура блюд, ингредиенты, повара, администрация и стиль взято прямо из Китая, тогда как в большинстве европейских стран рестораны, называющие себя китайскими, имеют очень мало общего с его настоящими кулинарными традициями; а «Дружба», насколько мне известно, из всего разнообразия китайских традиций ближе всего к Сычуаньской традиции. — На коллег, которых я пригласил в ресторан, он произвел такое же впечатление, как и на меня, когда я пришел туда в первый раз. Мне было приятно, когда сидящая рядом со мной Вероника, попробовав первые блюда, сказала: «Поразительно, какой букет ароматов, привкусов в одном кусочке, такое ощущение, что у меня во рту пузырящиеся и шипучие жемчужинки, и как будто эти ароматные жемчужинки подсакакивают одна за другой и ударяются о небо, — причем все сразу, — сохраняя все ароматы, которые есть на китайском базаре». В этом-то все дело: можно распознать все ароматы в отдельности, даже если они перемешаны в одном блюде, вы берете кусочек с тарелки, пробуя цыпленка в китайском соусе, и ощущаете, что этот соус не просто китайский по названию, а что вы кладете себе в рот сам Китай. В нем есть соль, перец, лимон, имбирь и

цветок настолько свежий, что в каждом кусочке вы можете ощутить его запах. Меня приводит в восхищение именно это богатство чувственных ощущений, присутствующих одновременно и витающих над столом — не только в различных блюдах и их названиях, но и наяву, даже в одном и том же блюде.

Взяв в руки меню, я взглянул на нашу компанию, по моим подсчетам, нас было 14 человек. С этой утешительной мыслью я с жадностью ухватился за возможность сделать заказ на всех нас, поскольку порции здесь такие щедрые, что после моего первого посещения, — я тогда по незнанию заказал четыре блюда и не смог справиться уже даже со вторым, и мне пришлось воспользоваться великим американским изобретением — «завернуть для собачки» (т.е. выдаваемым посетителю пакетом с остатками еды). Обычно я просматривал меню с некоторой долей грусти, зная, что придется отказаться почти от всего предлагаемого в нем и ограничиться двумя блюдами... Но теперь я читал и перечитывал меню от корки до корки, раздумывая над всеми 172 выставленными наименованиями, обращая внимание даже на десерт, потому что в обычных обстоятельствах для меня о десерте вообще речи даже не идет. Взвесив достоинства всех порций и аппетит, вызванный кулинарными ощущениями, растущий прямо на глазах, я приступил к заказу парада совершенства и традиций, насчитывающих шесть тысяч лет, традиций Китая, которые, впрочем, не являются только его традициями, они вобрали в себя особенности Монголии, Кореи, Азии, Японии, Индии и т.д. Ведь даже китайская культура стала богаче благодаря влиянию ближних и дальних соседей, равно как и китайцы обогатили своих соседей и нас, — за тысячелетия обменов. — И вот на чем я остановил свой выбор: бульон с плавающим цветком, мясной бульон с пельменями, начиненными морепродук-

тами, мясом и овощами с приправой из измельченного имбиря, мелко измельченного лука, кунжутного масла и соевого соуса; отварная курица по-гуадуньски; жареный арахис с кориандром в красном масле; салат из креветок с сельдереем; капуста и огурцы с лапшой; ростки фасоли; отварные грибы с бамбуком в масле; жареные гребешки и кальмары с китайскими рулетиками; карп «черная хризантема» в кисло-сладком соусе; жареный во фритюре цыпленок с орехами и сладким перцем; свинина в кисло-сладком соусе (со сладким привкусом от натурального меда); барашек с пекинской капустой в остром бульоне по-сычуаньски; тушеная капуста с черными грибами шиитаке; овощи в ассортименте: капуста, зеленый лук батун, шнит-лук, брокколи, морковь — вареные, тушеные и паровые, приготовленные самым разным способом и сохраняющие тончайшие ароматы, подаваемые с острым соусом чили и кипящие в благоухающем масле, а также блюда с жареными овощами, приготовленными с трепетным отношением к каждому ингредиенту, поджаривая их в кастрюле строго по времени, тем самым доводя каждый из них до совершенства и сохраняя идеальную консистенцию и цвет, а также все четко различаемые ароматы полагающихся приправ в соответствии с установившимися традициями, передаваемыми из поколения в поколение. Так, из коллективной памяти, заложенной в традициях, следует, что каждый овощ кладется в кастрюлю в определенной последовательности, начиная с самых твердых и плотных овощей, вроде брокколи, моркови и капусты, которые готовятся чуточку дольше, чем более мягкие листовые овощи, салат, сахарный горошек и ростки фасоли, которые кладут на сковороду, когда слегка начинает меняться цвет белой капусты — бок чой, стебли которой, осторожно отделенные от листьев, первыми попадают в жар кастрюли и затем кипят в ароматном кунжутном

масле всего две минутки, не больше, а тем временем повар уже готовится сдобрить блюдо на сковороде имбирем, которому нужно полминуты, чтобы отдать свой лучший аромат для достижения заданного поваром идеала, вынесенного из памяти великих мастеров прошлых поколений, чей шедевр наш нынешний повар так старательно воспроизводит; жареный салат с соевым творогом в соусе Хаою из морепродуктов; пекинская капуста с лепестками розы; пельмени с начинкой из баранины с зеленым луком, белой редькой и кинзой — еще теплые после варки на пару, такие маленькие, что после обмакивания в соевом соусе с уксусом их можно проглотить целиком; лапша в бульоне со свиной, овощами и маринованными корешками листовой горчицы; жареные блинчики с овощами; — а посреди стола медленно кипящий горшок, на котором останавливается мой страждущий взор, соединяя мысленное и чувственное ощущение с тем, что действительно в нем находится, о чем свидетельствует аромат цветочного перца, и цвет тонко нарезанного мяса, листовых овощей и грибов — и из всего этого получилось такое ощущение на языке, которое можно назвать как острым, жгучим, так и щекочущим, пощипывающим язык, как вода Виши.

Так что, я ощутил себя затерянным во мгле веков, куда завлекла меня эта истинно китайская еда, когда я в своей слабости поддался, — отравившись этим образом мышления, — влиянию силы невольных воспоминаний о своем окружении, той силе, которую мы можем вытеснить из своей личной жизни, но против которой мы не можем устоять, раз открыв в своем сознании дверцу для мысли о том, что нужно распознать и уступить желаниям сердца.

В этой трапезе я увидел краски, благоухание, вкус, форму и утонченность всех наличествующих ингредиен-

тов и ощутил радость от своей сопричастности всему этому, оттого, что это происходит в моей жизни. — Ко мне пришло понимание значения и смысла поиска и того, что мы надеемся отыскать в конце пути, как тут подали чай с бутонами лилии и цветками жасмина в тонком прозрачном чайнике, и вот в процессе заварки бутончики потихонечку раскрылись и превратились в цветки, которые время сохранило в засушенных бутонах, дожидаясь момента нового, на этот раз уже последнего возвращения к жизни, чтобы распротиться со своим ароматом и красотой в чашке чая, не просто в какой-то чашке, а именно в этой, где они имеют значение, где их поджидали. — И я подумал, неужели это самое ощущение, которое теперь я стал воспринимать, как свое собственное, и ради которого, по-моему, стоит жить, которое возвращало меня к святой святых моего детства, по сути, навеяно воспоминанием, ставшим моим лишь потому, что я восхищался описанием этого самого ощущения Марселем Прустом. Неужели я осознал это в тот самый момент, потому что именно тогда возникла столь сильная связь между источником впечатлений и моим осознанием? Но может быть, я особенно восприимчив к такого рода ощущениям, потому что они мои, и что Пруст просто подсказал мне, как свыкнуться с этим ощущением и как выразить его не столько для других, сколько для себя.

При виде лепестков лотоса и водяной лилии, плавающих в бульоне, я отметил, что во время ужина у меня было ощущение того, что я участвую в выставке экзотических цветов, ибо я постоянно старался по виду определить, что за цветы, пусть увядшие и засушенные, испускали аромат, имели цвет и запах, сохраненный в их засушенном теле, подобно воспоминаниям о жизни, и именно воспоминания, которыми делились со мной эти мертвые цветы, пробудили мои собственные воспоминания, вос-

кресившие их красоту у меня во рту и вдыхаемом благоухании. На столе и у нас в мыслях пребывали красные, белые, желтые, хризантемы и лотос, водяные лилии, сирень, распространяющая волшебный запах, который, как мне показалось, исходил от заколдованной китайской двоюродной сестры той сирени, что росла в саду у моих родителей. — Там витали еще запахи чили, имбиря и пряных трав, кунжутного масла и сычуаньского черного перца горошком, дающего душистый, пряный почти лимонный запах; кокоса, чеснока, горчицы, желтого и белого имбиря, трав, сирени, высушенной мандариновой корки и масла, перца, соли и поджаренных семян кунжута, которыми заправляют салаты.

Противившись с новыми друзьями в ресторане «Дружба», я заметил, что почти по соседству находится вход в Макдональдс, американский ресторан быстрого питания. Вид этого заведения заставил меня вновь задуматься над значением слова *прогресс*, потому что я мысленно сравнил древние традиции Китая, страны, которая, несмотря на скачок вперед в качестве экономического гиганта, сильно отстает от *прогресса* в его западной трактовке. И, с другой стороны, именно Америка должна быть олицетворением самой идеи прогресса, а, следовательно, Макдональдс олицетворением кулинарных достижений этого дивного нового мира. И я оглянулся на «Дружбу», потом опять посмотрел на Макдональдс и подумал, что, видно, что-то неладно с нашим прогрессом.

Но насколько такое сравнение характеризует наш прогресс, настолько же его характеризует и критика, которой самопровозглашенная культурная элита Европы подвергает Макдональдса, ибо честь ему и хвала за то, что он старается угодить вкусам и средствам европейской толпы и дает ей то, к чему она так стремится. Во Франции стало даже своего рода национальным видом спорта уст-

раивать беспорядки в этих ресторанах силами буйствующих специально нанятых для этого статистов, которые под бурные овации ансамбля элиты громят Макдональдс как символ своей беспокойной совести, однако же при этом сами подают картофель фри к каждому блюду (к тому же еще и без кетчупа), что для них является свидетельством хорошего вкуса, а химические вещества, распространяемые ими под маркой Данон, лучшими не назовешь, и багет с куском сыра 50-процентной жирности, безусловно, шикарнее, но не намного здоровее или питательнее.

Размышления о богатстве кулинарных традиций Китая и влиянии, которое Китай и его соседи оказывали друг на друга в течение тысячелетий культурного обмена, и о том, как в ходе развития социальной практики развивалась китайская кухня, навели меня на мысль о самой нелепой и странной идее современной науки, идее Универсальной грамматики, являющейся плодом творчества Ноама Хомского. Ведь он же является родоначальником идеи о том, что язык якобы является внутренним биологическим устройством, расположенным в мозге, в том самом месте, которое его последователи именуют «языковым органом» — ☺ — (и который на самом деле существует только в умах членов этой секты, для них *существует*, ведь раз они верят в это, то это их реальность). Вот потому эта идея сродни мысли о возможности существования некоей Универсальной поваренной книги, которая тоже находится в мозге или, скорее всего, в желудке (осторожно, они и в самом деле *так* думают!). И эта Универсальная поваренная книга могла бы содержать подсознательные инструкции всем поварам и всем принимающим участие в том или ином качестве в пищевой цепи — от растений и животных до кастрюли и ножа, от мясника к повару, ко всем инструментам, посуде, ингре-

диентам с тем, чтобы для всех участников и составляющих процесса было установлено идеальное состояние и форма, готовность к исполнению своей роли в процессе приготовления, словно все уже запрограммировано в этой книге, в мозге или желудке — или, иными словами, в *кулинарном органе*. И, конечно, они считают, что система настолько замкнута, что овощи, фрукты, цыплята, поросята, коровы и рыба тоже оказываются запрограммированными на то, что они должны жить, расти и питаться, как положено, чтобы в один прекрасный день, а именно в день, выбранный как будто по тайному сговору всеми звеньями пищевой цепи и именно в момент идеального подогрева кастрюли, они были приведены в идеальное состояние со всеми положенными приправами, были приготовлены по правилам Универсальной поваренной книги, как будто по приказу оказались пригодными для выполнения заранее отведенной им роли в кастрюле. — Но если задуматься над социальной практикой приготовления пищи таким образом (а это полная аналогия с идеей Хомского об Универсальной грамматике, поскольку вместо нее на самом деле там тоже речь идет всего лишь о социальной политике под названием «язык»), то можно сказать: «Да, такие объяснения были, такие объяснения есть: мы называем их религией».

Я замечаю, что у меня уже вошло в привычку, — и я думаю, что со мной это было всегда более или менее осознанно, — что всякий раз, когда я пытаюсь додумать какую-то мысль до конца, я останавливаюсь перед дверцей, которую необходимо открыть для мысленного обращения в прошлое, возврата во времени. В начале Времени — мое собственное прошлое, моя жизнь, моя же вечность является лишь отражением времени, вечности с сотворения мира. Вечность, бесконечное время протекает в сфере биологического и в его новом измерении — мен-

тальном, которое с помощью языка отображается в жизни, в социальной практике и которое через социальную практику наносит ответный удар по жизни (я говорю «наносит ответный удар», а хотелось бы вместо этого сказать «прикасается к ней», но слишком уж жесток наш язык, слишком уж грубая сила заключена в нашем языке, чтобы избежать этого слова, избежать насилия). Вот почему я считаю, что наши попытки проникнуть в человеческое познание и вопросы вечности и хоть краем глаза увидеть ответы будут вращаться вокруг осмысления биологической эволюции и ее связи с языком. Итак, воистину наше путешествие по жизни — это поиски утраченного времени, это стремление узнать будущее — вопрос, как толковать прошлое, научиться выражать эти толкования, рожденные нашим поиском.

Имея все это в виду, в завершение работы над книгой я хотел обратиться к работам Клода Леви-Стросса, в частности, к его «Первобытному сознанию»¹. В его антропологических рассказах и представляемых им традициях заложен не один важный ключ к пониманию нынешней реальности. Из прочтения его работ я вынес впечатление о том, что в самом человеке не произошло никаких превращений, изменился образ жизни, изменилась культура вокруг нас, и по сути, это всего лишь внешняя перемена декораций, перемена, означающая, что просто очередные предрассудки взяли верх над прежними, или новый образ жизни вытеснил старый. Уже при жизни Леви-Стросс пользовался огромной популярностью и славой, его работы привлекли громадную читательскую аудиторию, к нему прислушивались даже религиозные философы (например, Сартр), но он не предложил своим читателям ника-

¹ *Lévi-Strauss, Claude. (1996). The Savage Mind. University of Chicago Press (Леви-Стросс Клод. Первобытное сознание).*

ких глубоких общих выводов из собранного материала — не удалось или не было желания? Как я понимаю, он придерживался того мнения, что сложная организация жизни в наблюдаемых и изучаемых им культурах и обществах, обычаи, названные тотемизмом (системой, регулируемой ритуальным соблюдением традиций даже в самых тонких сторонах и аспектах жизни), возникла в результате реализации серьезного плана, заведомо и сознательно разработанного в данном обществе. Несмотря на мое восхищение его трудами и согласие с большинством его работ, я не разделяю это убеждение. Я, скорее, полагаю, что совсем наоборот, установление сложных порядков, правил заключения брачно-торговых союзов, запретов на определенную пищу, системы именования и т.д. стало проявлением извращенной застойности, к которой ведет жизнь в чрезвычайно закрытом обществе. Именно отсутствие внутренней состязательности (отсутствие свободы) и состязательности внешней (контактов с другими культурами) обусловило возобладание традиций, ритуалов, позволило им постепенно изменить реальность под завесой внешних приличий, а затем превратиться в новую непреложную реальность — уже в сознании. Внутренняя состязательность в таких обществах подавлялась чрезвычайно жесткими традициями, сводящими к нулю роль человека, личности. Именно такой путь ведет к уничтожению любого общества, отгородившегося от внешнего влияния и состязательности. В таких обществах губительная социальная практика укореняется, ширится и крепнет и превращает человека в винтик в социальной системе. Эти изучаемые Леви-Строссом общества с успехом защищались от внешнего влияния, но именно успех и развратил их, превратил человека в раба и остановил течение времени. — Сам парадокс заключается в том, что развитие мировой экономической, политической и куль-

турной интеграции, названное *глобализацией*, несет в себе огромный заряд такой же опасности. Нашей задачей, требующей огромных усилий, является интеграция ради мира, поиск возможностей создания мультикультурного и многополярного мира, в котором человек мог бы чувствовать себя свободным. — Пока же наблюдающиеся тенденции вызывают тревогу, и это находит яркое выражение в пугающих событиях, происходящих в Европейском Союзе, где новый вид тоталитарной веры в метафизическую реальность завоевывает все новые высоты.

Урок жизни, истории состоит в том, что свобода человека (т.е. счастье) будет обеспечена и защищена только в открытом обществе, в котором верят в плюрализм и которое основано на принципе свободной немонополистической конкуренции, конкуренции на всех уровнях жизни: внешнем, внутреннем, индивидуальном и общественном. — Такого рода конкуренция может в равной степени быть названа *сотрудничеством*, это всего лишь другое название одного и того же (кого смущает слово «конкуренция», тот может говорить о сотрудничестве), ибо полностью свободная конкуренция равняется идеальному сотрудничеству. Свободная конкуренция ведет к формированию равновесия, равновесие и есть сотрудничество.

Я чрезвычайно скептически отношусь к идее о том, что в мире был хоть какой-то прогресс. Происходили *перемены*, были *технические достижения*, но едва ли был хоть какой-то *прогресс*. Насколько я знаю, на протяжении всей истории можно признать прогресс лишь в одном — *сравнительном освобождении индивидуума (отдельного человека)*, признании ценности жизни каждого человека, большей свободы каждого в том, чтобы осознавать себя самим собой, чувствовать так, как чувствуется, жить самому и давать жить другим. В этой связи я больше выделяю важность этих основополагающих ценностей, чем

какие-то реальные достижения в них; ибо у каждого конкретного человека отнюдь нет такой свободы, как хотелось бы, такой свободы, которой нам еще нужно гораздо больше. По сути, предстоит еще сделать гораздо больше даже для защиты относительных достижений человечества в этой сфере, поскольку ничего нельзя принимать как должное, над свободой изо дня в день повсюду нависает не одна, так другая угроза, и не в самую последнюю очередь там, где по всем внешним показателям этого ждешь меньше всего. Как только борцы за свободу утрачивают бдительность, возникает новая опасность. — Идея прогресса тесно связана с представлением о том, что нынешнее поколение стало бы лучше, человечнее, чем его предки, словно генетическая структура человеческого существа могла бы измениться настолько, что появились бы какие-то гены, отвечающие за добродетели и высшие моральные ценности, которые теперь, только в последний десяток лет, одержали бы верх над генами порока и безнравственности. А это всеобщее заблуждение. Перемены произошли не в человеке, изменилась социальная практика, и эту социальную практику нельзя рассматривать как некую вещь, имеющую постоянную форму, которая отныне, благодаря развитию новых технологий, будет постоянно выпускаться как какой-то товар со знаком высочайшего качества. С таким взглядом на прогресс особенно носятся в большинстве стран Западной Европы и Северной Америки, где журналисты смотрят на мир вокруг себя, полагая, что все доказательства этого заключены в видимом материальном благосостоянии и кажущемся упорядоченном течении общественной жизни, не понимая, что такая упорядоченная жизнь является результатом немногих весьма поверхностных условий социальной практики: относительного равновесия в состязании аргументов; сдерживания применения силы в этих

странах только благодаря возросшей вероятности того, что ответом на силовое действие будет использование мощи целого государства, и поэтому кому-то кажется, что люди стали спокойнее и добрее. С другой стороны, в силу абсолютной власти западных правительств в своих странах применение некоторых видов силового воздействия гораздо эффективнее сегодня, чем было раньше. Однако стоит заметить, что благодаря новым властным реалиям, ведущим державам не составляло труда согнать толпу этих правительств на всяческие форумы для поддержания любой формы международной агрессии, которая в силу нехватки демократии в сегодняшней Европе единодушно преподносится как что-то очень человеческое, достойное похвалы и добродетельное, как высшая форма гуманизма (если только насилие отвечает их корыстным интересам). — Помимо равновесия в состязании аргументов и этого баланса устрашения, причиной появления европейской идеи прогресса человеческого общества является сравнительное благополучие жизни большинства наших добрых европейцев: теперь у них меньше причин убивать друг друга в той благополучной жизни, которой они живут (иначе говоря, это — благополучно живущая критическая масса). — И кроме этих условий — равновесия в состязании аргументов, баланса устрашения, а также относительного экономического благополучия, — нельзя забывать и о промывании мозгов: никогда еще европейцы и североамериканцы не подвергались воздействию такого мощного потока односторонне пристрастной информации, исходящей от политиков, занятых восстановлением Священной Римской империи (во имя Европейского Союза), Академического, Научного сообщества (во имя их позитивистского кредо) и Прессы, которой реально принадлежит власть в Европе и Северной Америке, неизбранной олигополии, управляющей западным полу-

шарием, сосредоточив потоки информации в руках небольшой, ну очень небольшой кучки людей, держащих в своих руках власть крепче, чем любая церковь или монарх во все времена.

Сегодняшняя пресса тянет нас назад к самым примитивным эмоциям, переживаемым человеческим существом, ведь теперь, когда она стала столь пристрастной, не предпринимается даже никаких попыток выдвигать какие-либо аргументы в защиту поддерживаемых ею мотивов. Вместо этого идет игра образами и ключевыми словами, выставляются кодовые слова, символы, священные для европейской толпы, и с помощью этих инструментов она оказывает неслыханное доселе влияние на всех *весьма современных европейцев*.

Около семидесяти лет назад в Германии, в самом центре Европы на свет появились самые жуткие звери, которых когда-либо знало человечество. И теперь люди, радующиеся совершенствованию человека, должны иметь в виду, что, конечно же, нереально, чтобы миллионы лет генетической истории человечества, приведшие к появлению этих *человеко-зверей*, теперь ни с того, ни с сего были обращены вспять всего за несколько прошедших с тех пор десятков лет (якобы путем мутации, вызванной своего рода генетическим планом Маршалла), чтобы теперь, по прошествии еще 50 лет, — капля в океане истории (я подчеркиваю это лишь потому, что эта банальная идея *de facto* жива среди европейских политиков, журналистов и ученых, т.е. всех трех разновидностей фокусников-затейников), в генетической структуре Homo Europeus произошли бы окончательные и бесповоротные изменения, и ныне он оказался бы полностью готовым к выполнению роли носителя доброты и прочих достойных похвалы качеств, словно подчиняясь некоей директиве Европейской комиссии. — Нет, то, чем мы являемся и чем мы станем, заключается в социальной практике и в язы-

ке, который отражает ее и оказывает на нее воздействие. Наши человеческие ценности — это всего лишь отражение языка, зачарованность которым мы испытываем на себе, языка, отражающего противоборство сил боли и удовольствия — теперь уже в ментальной плоскости — и, возможно, отражающего стремление, поиск долговечной любви, любви, которая возвышается над болью и удовольствием, но так далека от нас, далека, как промелькнувшая где-то вдали звезда, и нам остается только удивляться, где же она. Несколько неверных слов — и в человеке пробуждается зверь, — это не животное, а некий гибрид между животным и человеком, животное в человеческом облике, развращенное языком ненависти. И поэтому, как сказал Марсель Пруст: «при изучении некоторых периодов истории древнего мира мы поражаемся, видя, как сами по себе добродетельные мужчины и женщины без малейших угрызений совести участвуют в массовой бойне и человеческих жертвоприношениях, которые, вероятно, кажутся им чем-то естественным»¹. И этот язык ненависти, который «во все времена» накатывается, «как крутые разрушительные волны из глубины веков, сея те же распри, то же горе, тот же героизм, ту же одержимость, наслаивая их и перенося от одного поколения к другому»².

В настоящее время я живу и работаю в России, в стране, которую носило то одной, то другой приливной волной установившихся идей сквозь время и пространство. Лишь недавно в России избавились и избавили весь мир от одной из самых устойчивых навязчивых идей, когда-либо пережитых человечеством, — марксистской

¹ Proust M. (2003). In Search of Lost Time. Vol. VI: Time Regained. Modern Library. P. 213, 214 (*Пруст М.* В поисках утраченного времени. Обретенное время).

² Там же. С. 353.

идеологии и возвращенной на ее платформе диктатуры. Еще не просохнув до конца после наводнения, Россия строит новое общество на основе лучших своих традиций, возвращаясь к тем давним ценностям, которые европейцы превозносят в своем искусстве и литературе. Я вижу своими глазами, как общественная жизнь возвращается в нормальное русло, приобретает нормальные очертания, свойственные современному обществу (нормальные, насколько это вообще возможно в человеческом обществе). И все это происходит за каких-то рекордных 10–15 лет мира и спокойствия. Но коль скоро это действительно так, то почему же тогда я читаю в западной прессе и изо дня в день слышу из уст политиков слова, свидетельствующие об обратном. Как могут европейцы в 21-м веке с его перемещениями людей из одного полушария в другое за несколько часов, с его средствами коммуникации, с нашей прославленной наукой и уровнем образования принимать на веру выдуманный образ *другой России*, страны, которая, вопреки существующей реальности, совершенно превратно предстает в образе какого-то угрожающего им антидемократического монстра. Здесь не место анализировать, кому именно это нужно и ради чего. Да потому, что очень хочется прибрать к рукам гигантские энергетические и другие природные ресурсы России, и связано все это, конечно, с разного рода экономическими и геополитическими соображениями. Но здесь не об этом идет речь. Это труд о более фундаментальном, о языке, о его слабых сторонах, о том, как язык ненависти служит орудием зла и как он рождает все примитивные эмоции, которые волнообразно возвращаются снова и снова.

В первые годы своего пребывания в России я читал западные репортажи о происходящем в стране, пробегая время от времени какие-то газеты, и имел возможность

смотреть выпуск новостей только изредка — за утренней чашкой кофе, бутербродом и яичницей. Уставший после рабочего дня и ублаженный после ужина, я думал, что здесь какая-то ошибка, что журналист заблуждается или, вероятно, просто пока еще не может отделаться от прежних страхов и опасений. Но затем я заметил, что во всем этом есть некая закономерность, некий стереотип, что одни и те же несправедливые и ложные обвинения, одна и та же дезинформация — в одно время, одними и теми же словами — проходит по всем странам западного мира. Я стал различать закономерности кампании. Обращая на это внимание, насторожившись, я со временем разглядел, что все то, что передают и пишут, это сплошная ложь. Конечно же, не все журналисты намеренно лгут, кто-то заблуждается, кто-то попадает под влияние пропаганды, но за этим стоит некая задающая общий тон команда тех, кто руководит этой кампанией, своего рода информационной войной против России. Сегодня, когда собственность на западные СМИ сосредоточена в руках горстки людей, можно запросто дать установку на ведение любой пропаганды и дезинформации. Вот почему просто распространять все те ложные представления о России, которые создаются в недрах специализированного пропагандистского лобби, и под ними поневоле подписываются и другие журналисты, которые не осмеливаются, да и не в состоянии оспаривать эти фальсифицированные *истины*. Вот так фабрикуются такие истины, которые затем становятся официальными, приемлемыми и модными для всех. А большинство из всех пишущих и выступающих в качестве специалистов по России, демократии и чему-то там еще никогда даже не ступали на российскую землю. Все происходит так, как об этом говорил Марсель Пруст: «Правда состоит в том, что читатели видят все глазами редактора своей газеты, а разве может быть иначе, ведь

они лично не знакомы с теми людьми и не были свидетелями тех событий?»¹ Но все же мы не можем не испытывать чувства удивления перед тем, что «та самая публика, которая судит о людях или событиях этой войны по газетным статьям, искренне убеждена, что эти суждения — ее собственные»².

Мне кажется, что по определенным причинам, по каким именно и в какой степени — не знаю, из-за алчности, ненависти, геополитических соображений и борьбы за энергетические ресурсы определенные силы сознательно взяли курс (который строится на обмане) на представление России в образе злейшего врага. Теперь это уже не такая трудная задача, ведь все ведущие западные СМИ, сосредоточенные в руках узкого круга медиа-холдингов, были завербованы для этой цели и преданно служат ей в этой информационной войне. Даже раньше при гораздо более благоприятных условиях, несколько поколений назад, когда в Европе и США еще действовали плюралистические СМИ, было не так уж трудно манипулировать массами населения европейских стран в интересах обеспечения поддержки той или иной кампании, стать под знамена которой их призывали средства пропаганды. Это хорошо понимал Альберт Эйнштейн, утверждавший: «За какие-нибудь две недели овцеподобные массы могут быть возбуждены прессой до такой злобы, что с готовностью наденут мундиры и пойдут убивать и умирать ради каких-то недостойных целей нескольких заинтересованных партий»³. И ведь с тех пор так ничего и не изменилось. Сегодня европейские массы, к которым на самом деле будет правильнее отнести большинство европейцев (даже

¹ Пруст М. В поисках утраченного времени. Обретенное время. Амфора, 2006. С. 123.

² Там же. С. 127.

³ Эйнштейн А. Мир, каким я его вижу. 2000, Citadel Press. С. 10.

как никогда покорную молодежь), а также и в первую очередь тех, кто считает себя представителями свободно мыслящей интеллектуальной элиты (и большинство из них таковыми себя и считают), как никогда раньше восприимчивы к влиянию пропаганды; одновременно с этим способы создания и распространения пропаганды достигли невиданного доселе уровня совершенства. Так что, сегодня дан зеленый свет пробуждению воинствующих и разрушительных инстинктов этой европейской толпы и нацеленности на новые формы ненависти и новые войны.

Размышляя над этим, над пропагандистской шумихой и рождаемой ею ненавистью, я вспоминаю слова российского президента Путина, сказанные в 2007 г. по случаю празднования Дня победы над нацизмом — величайшим злом всех времен и народов: «Мы не вправе забывать: причины всякой войны нужно прежде всего искать в ошибках и просчетах мирного времени, а их корни — в идеологии конфронтации и экстремизма. Тем более что и в наши дни таких угроз не становится меньше. Они лишь трансформируются, меняют свое обличье. И в этих новых угрозах, как и во времена «третьего рейха», все то же презрение к человеческой жизни, все те же претензии на мировую исключительность и диктат». — Я бы добавил к этому: как и в третьем рейхе, эти угрозы — плоды пропаганды. В наши дни пропаганда не так бросается в глаза, как раньше, нынешние пропагандистские методы стали более искусными, изощренными, едва заметными в сюжетах, за которыми они скрываются, в новостях, в которых они преподносятся. — И все, что нам остается, это не поддаваться лжи и бреду, отстаивать правду и жить достойно. Человек может умереть в любой момент, зачем же уносить правду с собой в могилу, почему не попытаться при жизни внести свой вклад, почему не сопротивляться, пока живешь. Но есть ли у нас выбор? Может, мы словно попадаем под власть дурмана этих

идей, полностью отдаем себя истине без всякой надежды на исцеление от этой одержимости истиной — и, собственно, нет иного исцеления, кроме как взяться за перо и получить от этого небольшое удовлетворение, пусть только для себя, не ожидая никаких призов и наград, но ощущая некоторое сходство с больным, радующимся тому, что он смог встать с постели и отважиться на выход в город, который по возвращении домой падает в постель, испытывая чувство глубочайшей удовлетворенности своим поступком. Или нечто похожее на то, что происходило со мной, когда в нашем офисном здании еще только устанавливали новый лифт, и приходилось неделями подниматься пешком на 8-й этаж, — казалось бы, тяжкий труд, но каждый раз с чувством удовлетворения от того, что я это сделал, и не ожидая никакой награды, но, тем не менее, награду я получил. Может пригодиться и другая аналогия: мужчина или женщина в поту бежит кросс целый час, заставляя себя терпеть и бежать дальше, выходя на улицу на следующий день и в последующие дни, удовлетворяясь только одной наградой — удовольствием от ощущения, что хоть сейчас, на данный момент, все прекрасно.

КНИГА II

ВСЁ – ТВОРЧЕСТВО

Демократическое
соревнование

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Это третий путь! /	170
Я хочу сказать г-ну Баррозу, что «демократия» — это не вещь /	174
Фуко — определение власти применительно к демократии /	181
Соревнование и демократия /	193
Бытующие академические определения демократии /	202
Афины не были историческим исключением /	205
Европейские демократические традиции моложе бабушки г-на Баррозу /	208
Это — демократическое соревнование /	209
Состязательное правосудие /	213
Laissez-laissez-faire /	216
Частная и государственная собственность /	219
Государство и гражданское общество /	222
Враги открытого общества и демократического соревнования /	225
Демократические традиции /	232
Вот он — третий путь! /	238

Волнение... подъем и спад волны, волнообразное колебание в жидкой, упругой среде, непрерывно передающееся ее частицам, но с малозаметным перемещением в направлении движения волны или его полным отсутствием: вибрация. — Пульсация, вызванная одновременным вибрированием двух тональностей не совсем в унисон. Волнообразный вид, волнообразный силуэт или волнообразная форма... Власть и демократия.

Иван Святкович

ЭТО ТРЕТИЙ ПУТЬ!

Живя и работая в России, начиная с 1992 г., в первые годы постсоветских реформ, я оказался в своего рода лаборатории, позволившей воочию увидеть, что общественная деятельность и познание глубоко проникают в социальную практику, воплощаются в ней и являются ее результатом. Тогда Россия представляла собой страну, которая на протяжении жизни трех-пяти поколений находилась под пятой тоталитарного режима, намеренно сокрушившего естественное развитие социальных практик страны, традиции великой культуры, ее культурное наследие, все то, что в любой стране является фундаментом налаженной, обустроенной жизни и дальнейшего социального прогресса. Были уничтожены все социальные институты, составляющие основу свободы, демократии, правосудия, справедливости и экономического процветания в других странах Европы. И когда Россия сбросила с себя ярмо марксистского режима (1990–1993), ей при-

шлось начать строительство общественных отношений с нуля. Я заметил, что в жизни ничто не работает просто в силу того, что к власти приходят порядочные люди (и что, по существу, в условиях полного крушения социальной практики чем больше недоброжелательности и безнравственности в людях, тем успешнее они пробиваются наверх, занимают важные посты в политике и экономике); я заметил, что ничто не работает до тех пор, пока в критической массе бесконечных вариаций различных аспектов общественной жизни не устанавливается необходимой связи между ними в условиях свободного развития социальной практики, в процессе, где важнейшей составляющей является время. Я понял, что нет правильного или неправильного пути, есть только взвешенный, сбалансированный путь, где роль балансира принадлежит свободе и времени.

Отсюда я вынес свое представление о сути бытия (человеческой и общественной жизни) как проявления и отражения *социальной практики* и, по большому счету, пришел к осознанию того, что *всё сущее — творчество и всё вокруг нас есть результат творчества*. В своей книге *Expressions and Interpretations. Our perceptions in competition — A Russian Case* («Выражения и толкования. Наши восприятия в состязании — взгляд на Россию») я подчеркивал, что за словами (понятиями), которыми мы именуем свои базовые восприятия общественной жизни, такими, как «право», «экономика» и «религия», по сути дела, скрывается великое множество различных *форм* или, скорее, *сторон* социальной практики. В этой книге я хотел бы остановиться на одной из них — «демократии». Я ставлю перед собой цель дать расшифровку значения слова «демократия», понять истинный смысл и значение всех явлений, мысленно собираемых, накапливаемых и вкладываемых нами в понятие «демо-

кратия», проникнуть глубже под поверхностный слой этого представления и попытаться найти некие общие знаменатели, которые, исходя из жизненного опыта, можно считать «демократией». Эти искания подразумевают, что мне придется занять весьма критическую позицию в отношении политических наук, политологии в том виде, в котором они преподносятся академическим сообществом. В моем понимании, концептуальный метод академической науки, так называемый *научный* метод (в том значении, которое ему приписывается, к примеру, Карлом Поппером) не подходит для этой цели. Под концептуальным методом я подразумеваю академические традиции введения в речевой обиход новой терминологии, новых слов, чтобы затем утверждать, что эти слова имеют самостоятельное значение, определяемое очередными новыми словами и инсинуациями. В такой извращенной научной форме определение «демократии» предполагает все, что можно считать политической системой в Западной Европе и Америке, а все, что отличается от этого, по представлениям самих западноевропейских и американских ученых, является в большей или меньшей степени неверным.

Я понял, что вместо такого концептуального научного метода мне следует обратиться к методу истинно научному, который я называю состязательным методом¹, и вместо того, чтобы пытаться следовать ритуальным формулам, придуманным нашими университетами, и свято хранить верность традиционному значению слова «демократия», мне нужно подойти к решению этой задачи, взяв на вооружение понимание того, что всё в науке суть всего лишь восприятия в состязании, что в этом нет ничего постоянно-устойчивого, а есть только различные воз-

¹ Что касается состязательного метода, см.: *Hellevig J. Expressions and Interpretations*. My Universities Press (*Хеллеви́г Й.* Выражения и толкования). Глава 10.

можности (коих несметное количество) мирозерцания, взглядов на жизнь и что истинная наука означает попытку воспроизвести доподлинный сюжет, повествование обо всех сторонах и аспектах, затрагивающих наблюдаемые явления. Я понял, что нужно прочно закрепить якорь «науки» в доказанной реальности, то есть в творчестве. И для достижения этой цели мне пришлось воспользоваться чем-то новым, новыми нормами для замены фиктивного научного метода. Для этого в книге «Выражения и толкования» у меня был разработан собственный *метод состязания*, и все, что мне тогда было нужно, — это найти поддержку своим взглядам, найти авторов-единомышленников, кого-то, на кого можно было бы сослаться. Вот так я открыл для себя научное значение трудов Марселя Пруста, и так пришел к постижению его представления о науке, изложенного в трактате о человеческой природе «В поисках утраченного времени». — Его нужно читать от корки до корки; именно там можно найти и осмыслить значение этого поиска. Так что в этой связи я могу лишь отметить некоторые черты прустовского образа мыслей, его метода, сославшись на раздел, который, с моей точки зрения, является особенно наглядным (в этом плане)¹. Именно там он дает совет ученому «пытаться увидеть за материей, за опытом, за словами нечто другое», и, по мнению Пруста, за это можно взяться — в качестве своего рода средства профилактики, — когда «наши истинные ощущения... совсем» спрятаны от нас «под грудой всякого рода терминологий и практических целей, что мы ошибочно называем жизнью». Пруст выбрал слово «жизнь», но под ним он имеет в виду все поверхностные представления о жизни, которые люди

¹ *Proust M.* (2003). In Search of Lost Time. Vol.VI: Time Regained. P. 299 and 300. Modern Library (*Пруст М.* «Обретенное время» из цикла «В поисках утраченного времени»).

создают для себя в своих бредовых понятиях, о той «жизни», которая в академическом сообществе и в Википедии названа «наукой».

По словам Пруста, это то «единственное, что способно выразить для других и заставляет нас самих увидеть нашу собственную жизнь, эту жизнь, которая «не в состоянии наблюдать себя сама», а когда наблюдают за ней, ее проявления нуждаются в переводе и при этом зачастую в прочтении наоборот, кропотливой расшифровке». Как раз это-то я и собираюсь здесь сделать.

Я ХОЧУ СКАЗАТЬ Г-НУ БАРРОЗУ, ЧТО «ДЕМОКРАТИЯ» — ЭТО НЕ ВЕЩЬ

В первом разделе книги обозначена концептуальная основа философии социальной практики, суть которой состоит в понимании того, что социальная практика передается через язык, который, в свою очередь, складывается — испокон веков — стараниями и усилиями каждого человеческого существа, направленными на выражение своего собственного внутреннего толкования чувств. Сложившаяся таким образом коллективная практика употребления языка, в свою очередь, оказывает воздействие на толкование чувств каждого человека, а это опять же влияет на познание в процессе, который лучше всего представить себе, как извечное взаимодействие коллективного (социального) и частного. Поэтому я утверждаю, что человеческое познание — в хорошем и плохом смысле — возникает из взаимодействия выражений и толкова-

ний, из бесконечных вариаций толкований чувств одного человека и множества людей. Во втором разделе этой книги в качестве примера того, как можно применить такую философию социальной практики, взята одна из важнейших областей общественной жизни, или, вернее сказать, одно из главных явлений в жизни — *демократия*. — Демократия, демократическое соревнование также является одним из вопросов, который я хотел вынести на обсуждение, учитывая возрастающую роль этого слова в информационной войне, ведущейся западными державами и стоящими за ними правящими кругами против остального мира. Похоже, демократическая риторика служит скрытым оружием для нанесения упреждающего удара по странам, представляющим угрозу — или служащим мишенью — для распространения гегемонии нынешних ведущих держав, или же обладающим богатствами, которые эти правящие круги были бы не прочь прибрать к рукам.

В качестве одной из мер по разоружению нам нужно развенчать миф о понятии демократии и показать реальные жизненные процессы, скрывающиеся за этим красивым словом. Для этого самое время отказаться от признания пустого суеверного символизма понятий в пользу искреннего стремления тщательно исследовать и анализировать исходное человеческое поведение, — индивидуальное и коллективное, — обуславливающее возникновение явлений и процессов, которые составляют то, что можно считать социальной практикой, именуемой нами «демократией». Речь идет о явлениях и процессах, кои нам никак не удастся уловить и втиснуть в какие-то оторванные от жизни понятия, в которых мы никогда не идем дальше неустойчивого, эпизодического представления и которые можем только описать, о которых можем только рассказать подобно тому, как автор пишет свой

рассказ или как художник рисует свою картину. Таким образом, мы можем лишь рассчитывать на некое экспериментальное толкование явлений, толкование, помогающее составить представление о конкретных особенностях и характеристиках затрагиваемой проблемы. Слова, вроде слова «демократия», срабатывают как своего рода ментальный путь напрямик, позволяющий особо не о чем не задумываться, не давать себе труда осмыслить основные, базовые явления. Вот беда только в том, что если *мы* сами не задумаемся над происходящим, то за нас это наверняка попытается сделать кто-то другой. Ведь именно так пропагандисты стараются не упустить ни малейшей возможности для применения своих технологий и совершенства манипуляций, ухватившись за какое-то из этих сакральных слов и понятий, вкладывая в него нужное им содержание и используя его по делу и без дела в зависимости от того, как это вписывается в их интересы в информационной войне против остальной части общества и остального мира. — Чтобы понять, что такое «демократия», нужно воскресить в памяти основной постулат истинной науки, выраженный Марселем Прустом: «Реальность, которую нужно отобразить, заключается не в том, что очевидно, а в проникновении этого очевидного в такие глубины, где эти поверхностные ощущения не имеют значения»¹.

Война в Ираке и предшествующая ей информационная кампания служат ярчайшим примером средств ведения информационной войны и ее последствий, этой современной разновидности военных действий, причем попытка провести различие между словами и ракетами не имеет большого смысла, — и то, и другое сеет смерть. Что

¹ Proust M. (2003). In Search of Lost Time. Vol.VI: Time Regained. Modern Library. P. 279 (*Пруст М. Обретенное время* из цикла «В поисках утраченного времени»).

касается Ирака, то большинство честных людей согласится — задним числом, зная сегодня то, о чем мы не знали тогда, — что решающая поддержка войны была обеспечена с помощью тщательно подготовленных и умело примененных пропагандистских приемов. Сейчас все это уже понятно, но лишь немногие задумываются над тем, что у такой информационной войны гораздо больше фронтов, лишь немногие понимают, что те же самые злоумышленники ведут крайне рискованные нападки и на Россию; на этом фронте на карту поставлено еще больше. Разумеется, каждому человеку любая война в одинаковой степени несет страдания и смерть, однако же здесь ставки выше для всего человечества, а значит, даже для тех людей, чьи интересы эти махинаторы якобы представляют. У пропагандистов-махинаторов пока еще, наверное, нет окончательного плана наступательной операции на российском фронте, но складывается впечатление, что они занимаются долгосрочными вложениями в создание дурной репутации, формируя образ врага, твердя об угрозе безопасности и «западным ценностям», считая, что как только эти страхи прочно угнездятся в европейских умах, — а ведь это у них действительно пока что здорово получается, — они смогут нанести удар при первом же удобном случае. А им не терпится найти такой случай, подобно тому, как не испытывающий любви к хворому дядюшке, но надеющийся на получение наследства племянник с нетерпением ждет его кончины, не в состоянии бороться с искушением во что бы то ни стало ускорить развязку.

Похоже, что никаких уроков извлечено не было — ни из ситуации в Ираке, ни из каких-то других обстоятельств в череде бесконечных войн и скорбных страниц в истории человечества; ненасытность сил зла не знает пределов, они не знают поражений, никуда не исчезают, они

просто маскируются под обыденность и выжидают, пока не представится возможность вновь вынырнуть (а у человеческого общества, несомненно, море таких возможностей), чтобы нанести новый удар.

Европейский Союз — ярчайший в мировой истории пример того, как резко меняется направление развития демократии, и все же именно институты ЕС служат центром европейской миссионерской демократии. Это сродни вере религиозных фанатиков: они ничего не знают об истинных человеческих ценностях, но, однако же, при этом готовы идти на все, чтобы заставить других принять свои. По определению евродепутатов, «демократия» — это «наши общие демократические ценности и традиции». Но я прошу их назвать эти ценности, сказать, что они представляют из себя в действительности, из чего они состоят, откуда они берутся, к чему они ведут, увидела ли Европа пик этих ценностей и демократии?... — И с какой стати все ценности Европейского Союза должны быть общими для 500 млн человек? Что за тоталитаристская идея! — Что это за ценности, что это за *демократия*, что от нее остается при попытке копнуть немного поглубже, проникнуть под поверхностный слой этого возвышенного слова, столь щедро и по любому поводу выговариваемого пухлыми губами председателя Европейской комиссии г-на Жозе Мануэля Дурана Баррозу, откуда оно вылетает вместе с брызгами слюны, с пеной, выделяемой слюнными железами как продукт гиперактивных, но, судя по всему, не совсем удачно протекающих процессов регулирования функций тела. Ибо, разумеется, вдобавок к этому слову должно быть кое-что еще — демократия — это все-таки нечто большее. — И в самом деле, так оно и есть, даже для нашего дорогого Жозе Мануэля, или, к слову сказать, особенно для него. Ведь раньше ему было привычно употреблять слово *демократия* в совершенно

другом смысле, — по крайней мере, таково внешнее впечатление, — в те времена, когда он, будучи революционным лидером португальской подпольной группировки маоистского толка — Реорганизационного движения партии пролетариата (РДПП), позднее Коммунистической партии португальских рабочих (КППР) — Революционного движения португальского пролетариата, проповедовал насилие. Лишь тогда, когда подвернулась возможность начать новую и более перспективную карьеру, Жозе Мануэль решил заменить содержание симпатичного слова *демократия*, отбросить революционную риторику и поменять ее на что-то более подходящее для его новых неоконсервативных покровителей, служить которым он с той поры подрядился. — Это также служит объяснением хронического политического эдипова комплекса, которым страдает наш Жозе Мануэль. Он старается скрыть двойственность личности — или, скорее, свою многоликость, пыжится, стараясь придать себе строгий вид, подобающий государственному деятелю. Однако царящий в его голове сумбур накладывает на лицо отпечаток лихорадочной активности, выражающейся в быстрых и нервно-беспокойных движениях, движениях, каждое из которых по отдельности, длясь всего лишь какие-то доли секунды, едва заметно, и поэтому они создают впечатление пульсирующей студенистой массы, — что как раз под стать его полной политической бесхребетности. Будучи не в состоянии управлять своим лицом, он переносит центр тяжести туда, где, как ему кажется, у него получается лучше — на свой рот. Но выходит-то как раз из огня да в полымя, ибо все, что ему удается, это скривить рот в самой глуповато-многозначительной улыбке в политической истории Европейского Союза, улыбке, являющей собой нечто среднее между мрачной гримасой и выражением некоего безропотного идиотизма, — не-

удачное сочетание внешне выказываемого доверия его американских покровителей и комплекса неполноценности бывшего коммуниста из находящейся на задворках мировой политики страны, внезапно оказавшегося у власти конгломерата, стремящегося стать возрожденной Священной Римской империей. — Но нас бы не смутило бесформенное лицо, выражение которого меняется при каждом движении плечами, постоянно вздрагивающими от мучительной раздвоенности, заключающейся в осознании того, что он является центром внимания, и это вызывает у него ощущение внутренней неловкости, но в то же время и довольства собой, хотя он в равной степени не знает толком, что с этим делать, полагая своим долгом, или, скорее, то, что он пассивно переживает как свой долг, ибо в этом случае *полагать* — слишком возвышенный термин, здесь и сейчас осмыслить и истолковать каждое из своих впечатлений. Даже его надутые, искривленные в глуповатой улыбке губы не привлекли бы нашего внимания, если бы не глаза. Потому что в глазах сохранилось что-то от его честной маоистской юности, именно по глазам видно истинное выражение гнева или отпечаток чего-то несправедливого и недостойного, чего-то злобного, что служит причиной его гнева, этакой священной ненависти. Именно беспокойное, тревожное выражение, промелькнувшее в глубине его глаз, навело меня на мысль, что во всем этом есть нечто большее, чем обычный политический блеф, — в этом есть какой-то более личный, таящийся в душе примитивный гнев, старательно прикрываемый другими телесными функциями. Кое-что об этом говорит и отпечаток некоей диспропорции между количеством разных точек, в которых подряд и одновременно находится его тело, вздрагивание плеч, дрожание голоса, бесформенной массы лица и многозначительная глуповатая улыбка — и все они каким-то

образом имеют отношение к гневу, мерцающему в глубине зора.

Зато этот хамелеон г-н Баррозу — удачный выбор человека для того, чтобы вести за собой Европу, ведь он лично. Он один воплощает в себе весь ее идеологический спектр, что означает отсутствие у него вообще какой-либо идеологии, или лучше сказать, никакой европейской идеологии нет и в помине. В нем Глобальная Элита обрела лучшего европейского политика, которого можно купить за деньги. — Ошарашенный мыслью о том, что он, по сути, стал Президентом, он усвоил один жизненный урок: быть благодарным и лояльным голосу своего хозяина.

И вот именно этому г-ну Баррозу я хочу сказать, что *демократия* — не вещь.

ФУКО — ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ДЕМОКРАТИИ

Демократия — название *системы* (я употребляю слово *система*, но должен предупредить об опасности ложного представления, которое оно может породить, указывая на аналогию с вещными процессами, поэтому я подчеркиваю, что в этом контексте под словом «система» в социальных науках имеются в виду «комплексные взаимодействия между людьми»), преднамеренные попытки оказать воздействие на властные отношения. Следовательно, *демократию* можно определить или, скорее, осмыслить только в терминах, относящихся к лежащему в ее основе понятию власти. — И снова я ловлю себя на том, что говорю о системе, состоящей из «преднамерен-

ных попыток», но это, по сути, указывает на еще одну проблему — идею постижения всего сущего с точки зрения *преднамеренных действий*, хотя в действительности большая часть аспектов, оказывающих воздействие на демократию, является результатом сложных комплексных взаимосвязей во всех сферах общественной жизни. В значительной степени это всего лишь общие условия жизни в обществе, которые обуславливают состояние демократии, демократическое соревнование, или, скорее, его отсутствие, недостатки демократии, — ведь качество демократии (хорошая или плохая демократия) суть отображение общих жизненных условий и бесконечных их вариаций.

Я бы сказал, что демократия является одним из аспектов тех самых явлений, которые мы называем властью, в некотором смысле они — зеркальные отражения друг друга, с одной стороны, мы обозначаем то, что видим, *властью*, а с другой, подводим под категорию *демократии* процессы, оказывающие воздействие на власть. Однако же, когда мы действительно пытаемся осмыслить проблему, подобраться к тонкостям аналитики, то попадаем в самый настоящий герменевтический круг, постоянно снимая слои поверхностных представлений, наблюдая, как какой-то аспект демократии соотносится с тем или иным аспектом власти и так далее, пока не начинаем по-настоящему понимать, что демократия и власть — лишь названия двух разных точек зрения на одну и ту же проблему, на ту же самую социальную практику, и тогда мы осознаем, что каждый рассматриваемый нами новый аспект демократии можно осмыслить только в соотношении с каким-то аспектом власти и так до бесконечных мельчайших подробностей в отношении всех сторон демократии и власти — от малозначащих соображений до главенствующих общих идей и представлений.

Однако же наши ученые мужи истолковывают *демократию* по-другому. Они не связывают ее ни со взглядами на власть, ни с чем-либо иным. По сути, они вообще *не связывают одно понятие с другим*, потому что в их вещном мировоззрении нет никаких отношений. Они просто утверждают, как в любой языковой игре, свое поверхностное творческое видение слова *демократия*, — и это *творческое видение* они именуют *наукой* (хотя более тщательное исследование и анализ природы этого видения, наверное, привели бы к диагнозу «научный бред»). И все, чего им удастся добиться таким анализом, — это вляпаться по глупости в традиционно академическое понятие «демократии», предусматривающее обязательные ссылки на **Древнюю Грецию** и **Афины**, **Макиавелли** (с ним связано больше недоразумений, чем обычно бывает в науке), **Монтескье** (икона для всех тех, у кого отсутствует способность четко мыслить, но это не в укор самому барону Монтескье, это в укор читателю — *читателю?* — Да нет, читателей-то и нет, его труды не читают, впечатление о Монтескье составляется по двум абзацам примечаний из учебников средней школы по истории и бесконечных ссылок научного мира на его имя, и никто не задается целью, что же он говорил на самом деле, в связи с чем, и при каких обстоятельствах); **Руссо** и его работа **«Об общественном договоре»** получают очень высокий рейтинг в научном жаргоне (хотя никто не дает себе труда задуматься о том, что «общественный договор» — просто фикция, фигура речи, причем очень сильно исковерканная). — В качестве других столпов демократии приводятся **Великая хартия вольностей**, **Билль о правах**, **Конституция США** и **Пятая поправка**, а также другие бытующие доказательства, прокладывающие себе путь в науку, которая превратилась в пустую игру слов, праздное состязание в остроумии. И венцом всех этих

терминов стал **«Парламентаризм»**, который звучит для этих мудрецов завершающим аккордом слова **«Демократия»**.

Но я утверждаю, что суть демократии — нечто большее, чем эти многочисленные ссылки на исторические документы и знаменитостей, куда большее, и в чем она состоит, можно понять только в контексте исследования того, что представляет собой *власть*.

Итак, нам повезло с *властью*, поскольку в отличие от *демократии*, где мы не можем заручиться поддержкой никого из бывших или нынешних авторитетов, в отношении «власти» мы можем обратиться к Фуко, Мишелю Фуко, французскому философу и историку, занявшему заслуженное место в истории западной мысли и, что еще важнее, оказавшему на нее благотворное влияние¹. — И если теперь каждый, кто восхищается работами Фуко, задумаются над смыслом его трудов, то сможет добраться до сути того представления о демократии, которое я отстаиваю. Чтобы продемонстрировать взгляды Фуко на власть и подготовить читателя к пониманию связи между властью и демократией, ниже я привожу отрывок, в котором он выражает свою идею власти, и даю свои замечания к нему².

Фуко дает определение власти как в смысле того, чем, на его взгляд, она является, так и того, чем она не является, или, скорее, тех аспектов представления о «власти», которые обычно первыми приходят в голову, но

¹ Хотя мне приходится отметить, что, к сожалению, Мишель Фуко не смог полностью освободиться от ориентированного на марксизм так называемого постмодернистского мышления с его классовыми теориями и поэтому во многом остался заложником господствующих теорий заговоров, согласно которым метафизический класс капиталистов вынашивал заговоры против остального человечества.

² Я привожу цитаты по изданию: *Foucault M. 1990, Vintage books. С. 92–97* на английском языке.

которые им отвергаются как попросту поверхностные и легковесные. — «Властью я называю не *Власть* как совокупность институтов и аппаратов, которые гарантировали бы подчинение граждан в каком-то государстве, — утверждает Фуко. — Под властью я также не подразумеваю такой способ подчинения, который в противоположность насилию имел бы форму правила», — продолжает он и добавляет, что он не «имеет в виду и всеобщую систему господства одной группы над другой, ...систему, результаты воздействия которой распространялись бы на социальную общность в целом».

После такого подразделения того, чем же власть не является, Фуко замечает: «Под властью, мне кажется, следует прежде всего понимать множественность соотношения сил, имманентно свойственных области, в которой они осуществляются и которая составляет их собственную организацию; понимать процесс, который в непрерывающихся конфликтах и конфронтациях преобразует, усиливает или поворачивает их в противоположном направлении; понимать как опору, которую это соотношение сил обретает друг в друге, образуя таким образом цепочку и систему, или же, напротив, понимать как размыкание и противоречия, обособляющие их друг от друга; и, наконец, понимать как стратегии, в чьих рамках они вступают в действие, общее конструирование и организационное становление и укрепление которых выливается в создание государственного аппарата, формулирование законов, установление различных форм социального господства». — На писательский стиль Фуко оказали влияние континентальные метафизические традиции, восходящие к Гегелю и марксистам, поэтому читателю, не посвященному в эти традиции, иногда трудно докопаться до смысла таких фраз, как «соотношение сил, имманентно свойственных области, в которой они осуществляют».

ся», и понять, почему эти «соотношения сил» представлены в тексте так, словно речь идет о неких физических сущностях, однако мне кажется, что читатель, безусловно настроенный на то, чтобы во всем разобраться, сделает это. Из всего вышесказанного самой важной посылкой является понимание того, что Фуко описывает ситуацию, когда огромное, бесконечное число побудительных импульсов возникает из неизвестного числа источников («множественность соотношения сил» и что, по его утверждению, способ воздействия этих побудительных импульсов на людей не является ни линейным, ни иерархическим, а представляет, скорее, результат бесконечных вариаций («непрекращающиеся конфликты и конфронтации их преобразуют, усиливают или поворачивают в противоположном направлении...»), а также понимание того, что можно проследить, как все властные отношения складываются в систему, но не упорядоченную, не прогнозируемую и ни в коем случае ни совершенную («образуя таким образом цепочку или систему, или же, напротив, понимать как размыкание и противоречия, обособляющие их друг от друга»). Это сродни утверждению Пруста: «Образ, что предлагала нам жизнь, в действительности дарил нам в ту минуту разнообразные, несходные друг с другом ощущения»¹.

Фуко: «Условие возможности власти или, во всяком случае, точку зрения, позволяющую понять механизм ее осуществления вплоть до самых его «периферических» эффектов, а также дающие возможность использовать ее механизмы в качестве некоей сетки координат четкости и внятности социального поля, *не следует пытаться найти в изначальном существовании некоей центральной точ-*

¹ Пруст М. В поисках утраченного времени. Обретенное время. Амфора, 2006. С. 258.

ки, в каком-то едином источнике верховной власти, из которого расходились бы в разные стороны производные и нисходящие формы; таким условием является подвижная основа соотношения сил, которая в силу их неравенства непрерывно формирует определенные состояния власти, но последние всегда являются локальными и нестабильными». — В приведенном выше абзаце я ввел курсив, чтобы выделить то, что я считаю важнейшим аспектом, иначе говоря, показать, что Фуко подчеркивает: нет ни «изначального существования некоей центральной точки», ни единого лидера или руководящего органа на вершине пирамиды.

Он ведет речь о «вездесущности власти», подразумевая под этим, что власть — это не подчинение одного лица другим, а, скорее, рои сложных отношений, который, по словам Фуко, «производит себя в каждое мгновение, в любой точке, или, скорее, в любом отношении от одной точки к другой. Власть — повсюду не потому, что она все охватывает, но потому, что она отовсюду исходит». — Фуко отвергает упрощенческое восприятие власти как простое иерархическое соотношение между вышестоящими и нижестоящими, он утверждает, что «именно в этом поле соотношения сил нам следует пытаться анализировать механизмы власти. Таким путем удастся избежать системы Закон-и-Суверен, которая столь долго зачаровывала политическую мысль...».

Хотя Фуко не говорит это теми же словами, которые я употребляю в книге «Выражения и толкования», я полагаю, что его представление согласуется с моим: власть не следует считать «вещью», чем-то *существующим*, а следует рассматривать как жизнь, отраженную в ракурсе представления о «власти», власть — это восприятие тех проблем, которые, как принято считать, оказывают воздействие на властные отношения. Проблема здесь, как и

со всеми восприятиями, заключается в том, что власть рассматривается очень упрощенно, например, как отношения между президентом и народом. Лишь очень немногим, как Фуко, удалось уделить этой проблеме достаточно внимания, чтобы, подобно своему именитому соотечественнику Марселю Прусту, заметить, что все аспекты взаимоотношений людей (власть ведь только один из аспектов или взглядов на эти отношения) управляются или являются результатом нескончаемых, бесконечно малых аспектов жизни и сил, воздействующих на жизненные процессы, или размышлений над ними. Мы не сможем продвинуть науку вперед, не отказавшись от упрощенческого мировоззрения, представляемого академической наукой и западной системой образования, — мировоззрения, основанного на *языке вещей*, и мысленного представления, ни на йоту не отошедшего от основ арифметики и геометрии средней школы. — Кому-то понадобится сочинить прустовский том о власти и демократии и включить в договоры все аспекты жизни, связанные с этой темой, произвести залп из аспектов, показывающих все признаки и особенности общественной жизни, которые нужно включить в трактат, развеять миф о власти и демократии как о некоей логической формуле, развенчать воззрение, согласно которому *власть* помещается на вершине социальной пирамиды и оттуда простирает свои крылья в точно определенных математических линейных формах, — а строительство демократии соответственно идет в линейной форме от основания пирамиды к вершине, — и это несмотря на то, что нам даже неизвестно, кто помещается там наверху, и станет ли пирамида совсем другой, если вдруг лидера, стоящего на самой вершине, придется сменить (как это время от времени и происходит), если совершенно новая птица с новыми крыльями займет место на этой вершине. Ибо в

конце концов, в истории полно примеров, когда приходит новый лидер, но это совсем не означает, что пирамида изменилась и соответственно могут измениться общественные отношения, даже если один и тот же человек останется.

Есть бесконечные аспекты жизни, оказывающие воздействие на властные отношения, и есть бесконечные властные отношения. Просто для того, чтобы перечислить некоторые из них, мы можем вновь вернуться к цитатам Фуко, утверждавшего, что «власть происходит снизу, это значит, в корне властных отношений нет никакой бинарной всеохватной оппозиции между правителями и управляемыми, и при том, что они служат общей матрицей, — нет двойственности, распространяющейся сверху вниз и влияющей на все более и более ограниченные группы, до самых глубин социальной общности. Скорее следует предположить, что множественность соотношения сил, которые образуются и действуют в аппаратах производства, в семье, в ограниченных группах, в институтах, служит опорой для обширных последствий расслоения, которые пронизывают всю социальную общность...». — Более того, власть даже не в этих отношениях, власть в глазах ее обладателя является восприятием взглядов на эти человеческие отношения, и даже при этом власть или различные конфликтующие взгляды на нее, являются своего рода внутренними аспектами этих отношений, или, скорее, они в вытекающих результатах, в размышлениях о жизни, к которым они приводят, или, по словам Фуко, «властные отношения не находятся за пределами других видов взаимосвязей — экономических процессов, информационно-познавательных связей, сексуальных отношений, — но внутренне присущи им». — *Не во внешнем положении, а имманентны им — все в одном холистическом целом.*

И я согласен с Фуко, утверждающим, что «власть не есть нечто приобретенное, захваченное или разделяемое, не нечто такое, что удерживается или упускается; власть осуществляется из бесчисленного количества точек при взаимодействии вечно меняющихся отношений».

Подходя с совсем другой точки зрения, Фуко замечает, что сеть властных отношений в конечном счете образует некую генеральную силовую линию, пронизывающую все общественные институты и структуры, «в них не локализуясь, ...они пронизывают любые социальные стратификации и отдельные объединения индивидов».

В заключение Фуко отмечает: «Власть не есть некий институт или структура; это и не определенная сила, которой мы наделены; это название, которое присваивается некой сложной стратегической ситуации в конкретном обществе... она не является результатом выбора или решения какого-то конкретного субъекта. Давайте не будем искать ни некий штаб, который руководил бы рассматриваемой системой; ни правящая каста, ни группы, контролирующие государственный аппарат, ни те, кто принимает важнейшие экономические решения, не управляют всей сетью системы власти, функционирующей в обществе». — По его словам, власть — повсюду и в то же время нигде, потому что *власть — это не вещь*, а всего лишь социальная практика, которую мы рассматриваем с определенной точки зрения. — Тот, кто готов согласиться с точкой зрения Фуко, что *«власть — это имя, которое присваивают некой сложной стратегической ситуации в конкретном обществе»*, значительно продвинется вперед в обретении нового видения, в способности видеть бесконечные жизненные вариации и понимать философию социальной практики и толкования чувств.

Полагаю, Фуко согласился бы со мной в отношении утверждения, что власть суть социальная практика, тра-

диции, закодированные в языке, в личных отношениях, религии, идеологии, литературе, гендерных концепциях, предрассудках, пропаганде, в решении квартирного вопроса журналистов, в экономической выгоде, алчности, ненависти — и (но в меньшей степени) в любви.

Если исходить из того, что с *властью* дело обстоит так сложно и неоднозначно, то, разумеется, народное средство, ключ к ее правильному выстраиванию, т.е. демократия, ни в чем не может уступать ей по сложности. Демократия — не просто проведение выборов, ибо выборы могут быть справедливыми и выражающими волю народа только при условии, что все остальные главенствующие условия — все, о чем мы с Мишелем сказали выше, — справедливы, благоприятны и обеспечивают свободный и плюралистический процесс демократического соревнования. Вот почему я от всей души, целиком и полностью выступаю против лицемерного взгляда на демократию, проповедуемого такими ханжескими пропагандистскими средствами массовой информации, как Financial Times, The Economist, Washington Post, the Telegraph и им подобных, — а также их лакеем г-ном Баррозу. Суть демократии не сводится к вопросу о выживании самых богатых и самых дерзких и отчаянных, тех, у кого есть средства на приобретение освещения в СМИ и режиссирование уличных протестов. Суть демократии в том, чтобы все имели равные возможности для реализации свободы слова, право выдвигать свои собственные идеи касательно демократической повестки дня и право просто молча соглашаться, если нет возражений, с идеями и действиями политических лидеров.

И все же большинство мировых политических элит пытается убедить нас в том, что демократия означает лишь периодическое проведение выборов. Они забывают о том, что по таким меркам даже СССР был демократи-

ческой страной; там тоже народ регулярно призывали голосовать, чтобы утвердить власть монополиста. (Хотя они и признают роль «свободной прессы», которую определяют как «любое находящееся в частном владении средство печати, независимо от степени его монополизации и уровня коррумпированности». — Может быть, они имеют в виду, что демократия в СССР была бы полноценной, если бы советские СМИ находились в руках одного-двух местных Мёрдоков, а не в государственном ведении.)

Безусловно, голосование имеет решающее значение, но только как составная часть общей основы состязательной демократии, как кульминация честного демократического соревнования. Есть примеры того, что проведение избирательных кампаний при полном отсутствии условий для демократического выбора наносит больший вред демократии (суверенной власти народа), чем использование других механизмов, в большей степени отвечающих требованиям демократического выбора (примером может служить изменение системы назначения губернаторов в России).

Теперь, не забывая о таком анализе сути власти и его alter ego — демократии, а также о бесконечных вариациях, в которых они проявляются и взаимодействуют, я приглашаю читателя поразмыслить над приводимой ниже идеей демократического соревнования как над ориентиром, связанным с осмыслением демократии как принципа действия совокупности условий для состязания на всех уровнях и при разных отметках глубины социального взаимодействия, а также над тем, как организовать демократическое соревнование в обществе (в той мере, в какой мы вообще можем вести речь о его активной организации. — Из всего этого читатель может понять, что демократия сродни полотну, сотканному из самых разных нитей жизни, нитей, переплетение которых образует

пестроту узоров социального взаимодействия при том, что эти нити находятся в нескончаемом движении и все узоры постоянно теряют свою четкость, смазываются другими аспектами жизни, а также понять, что мы можем потрогать и почувствовать его плотность и состав под названием «демократия» только в сравнении со всеми остальными полотнами жизни.

СОРЕВНОВАНИЕ И ДЕМОКРАТИЯ

В книге «Выражения и толкования» я выбрал слово «компетиционизм» в качестве термина для обозначения своей мысли о том, что же является важнейшим двигателем, условием всего происходящего в нашем социальном мире. Я выстроил идею компетиционизма, перевернув вверх дном основные философские взгляды, чтобы передать мысль о том, что все в жизни подчинено соперничеству, никогда не прекращающемуся состязанию, неотделимому от разных сторон жизни, — от индивидуальных отношений до всего происходящего на макроуровне, в экономике и политике. Именно состязательность скрепляет и цементирует все стороны жизни, обращает действия отдельного человека в модели социального поведения, благодаря уравниванию крайностей, и такой плавный переход множества вариантов индивидуального поведения в относительно стабильную социальную практику всегда является итогом исторического процесса, подобно герменевтическому кругу. Но в данном случае идея герменевтического процесса используется не только для трактовки реальности, но и для осмысления того, как формируется сегодняшняя реальность в историческом

процессе, где один побудительный импульс влечет за собой другой, своего рода контримпульс так, что при этом каждый из них оказывает свое воздействие, формирует предел возможного. — И к тому же импульсы можно считать аргументами, а это снова возвращает нас к состязанию *аргументов*, где каждый импульс, каждый аргумент в свободном состязании служит для очерчивания возможного круга аргументов (это еще одно проявление действия боли и удовольствия в поисках равновесия). При отсутствии свободного состязания или в случае его извращения сверх меры предел возможного или приемлемого разлетится вдребезги, и тогда традиции, существующая социальная практика окажутся не в состоянии вобрать в себя качество аргументов, становящихся вследствие этого все более и более грубыми, а мирные способы убеждения, основывающиеся на достоинствах какого-то аргумента, уступают место насилию. Вот так рождаются аргументы в пользу насилия, так возникают убийства, революции и войны. — И именно по этому образу и подобию создан наш мир. Именно так европейская демократия (эта *вещь*) прошла через убийства, войны, революции, через бесчисленные невзгоды, невзгоды, которые даже математика — язык социальной научной фантастики — не может сделать понятными, через гильотину, на которой обезглавили 40 тыс. человек, ознаменовавшую подлинное начало славной революции. Французы и поныне трепетно и с завидной гордостью относятся к этому своему достижению, считая его одним из самых красноречивых аргументов в пользу демократии, что в результате позволило корсиканскому оппортунисту провозгласить себя императором, — и все французы поверили в этот бред, словно в сказке наоборот: не император без одежд, а одежда без императора, — и началась бесконечная череда войн и людских страданий, оставившая мил-

лионы погибших на славном пути к европейской демократии: 1848 г. — новая волна революционных выступлений, кровопролития и рукотворных бедствий и страданий во Франции и во всей Европе; 1871 г. — новые бедствия обрушиваются на Францию — 17 тыс. убитых в ознаменование восхода новой зари европейской демократии; 1914–1918 гг. — гражданская война в Финляндии — 37 тыс. погибших, включая потери на фронтах войны, погибших в кампаниях политического террора и лагерях для военнопленных; 1914–1918 гг. — Первая мировая война, унесшая жизни 15 млн человек; Веймарская республика, ставшая дорогой, на обочинах которой появились очередные надгробные памятники, выводящей на славный путь к европейской демократии, и, наконец, 60–80 млн погибших во Второй мировой войне. Между этими двумя самыми славными вехами европейской демократии случился 1922 г. — Марш на Рим и фашистский переворот Муссолини; 1923 г. — первый, но не последний гитлеровский путч; государственный переворот и установление диктаторского режима в Португалии; 1933 г. — назначение Гитлера канцлером Германии; 1936–1939 гг. — гражданская война в Испании, принесшая около 1 млн погибших, за которой последовало установление фашистского режима Франко вплоть до 1975 г.; 1944–1949 гг. — гражданская война в Греции; 1945 г. — атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки — самые выдающиеся достижения демократической цивилизации Соединенных Штатов Америки, по имеющимся сообщениям, совершенные как аргумент во имя защиты европейской демократии; приход к власти неизбежных социалистических правительств в целом ряде стран Восточной Европы (позднее в связи с новым свежим взглядом на природно-географические условия переименованной в Центральную Европу), в которых первые признаки демократии появились к концу 1980-х годов.

Такова славная история европейской демократии, нечто, на что, по мнению, евродепутатов, журналистов The Financial Times и г-на Баррозу, способны только европейцы (т.е., по их определению, все европейцы к востоку от Нарвы), — и они правы. — Ведь только оставшиеся в живых — не погибшие — думают, что все это так чертовски славно. И именно в результате этого безумного состязания аргументов в Европе, главными из которых в течение последних 500 лет были пули, газы, бомбы и смерть, в наши дни европейцы радуются состоянию равновесия террора, которое они считают демократией, и правильно считают, это и есть демократия, но демократия, возвращенная на крови. — Представляется, что люди с такими традициями и взглядами должны быть в самых последних рядах тех, кто рвется выступить со своими наглыми заявлениями и претензиями, чтобы преподать России уроки строительства демократии, ибо Россия — страна, которая не затратила 500 лет и не потеряла 100 млн человек на пути к демократии. Она мирным путем освободилась от европейской идеологии, сбросила ярмо марксизма, сокрушившего за 70 лет все коллективные политические традиции, и несмотря на это, в рекордно короткое время, за какие-то 10–15 лет смогла мирным путем построить полностью функционирующее общество с действующей демократией. Заметьте, г-н Баррозу, это не та разновидность демократии, которая существует в Европе, но ведь и путь России к демократии тоже иной, он не начинался с полетевших под ножом гильотины голов. И демократия в России — это не та демократия, что в Соединенных Штатах, а американская не похожа на европейскую, она не такая, как в Бразилии, да и в Европе тоже нет единой формы демократического правления, хотя все они попадают под удушающее давление возрождающейся Священной Европейской Империи, которая

воздвигнет еще больше памятников этому прекрасному слову — демократия.

Как и все вещи в природе, социальная практика приобретает определенную форму и крепнет в условиях состязания. Экономика и наше восприятие ее как свободной конкурентной рыночной системы как раз служит примером того, как социальная практика отражает усилия и старания бесконечного множества людей, труд которых становится тем плодотворнее, чем больше степень равноправия и свободы. На сегодняшний день большинство согласится со мной — после всех социалистических экспериментов 20-го века с введением плановой экономики и регламентирования — в том, что конкуренция и свобода имеют решающее значение для экономики. Поэтому я призываю читателя постараться разобраться во всех процессах, оказывающих воздействие на экономику (составляющими элементами успешно развивающейся экономики), а затем перенести этот взгляд на все остальные восприятия общественной жизни. В конце честного пройденного пути раздумий любой сможет понять, что те процессы, которые оказывают воздействие на экономику, влияют и на все остальные сферы жизни, и более того, параллель с *демократией* становится явной особенно сейчас, ибо что же составляет суть демократии, как не конкуренция, соревнование! В человеческих взаимоотношениях, которые мы называем демократией, постоянно происходит состязание всего и вся, состязание аргументов на всех уровнях, во всех сторонах жизни, и именно состязание накапливается и закрепляется в демократическом принятии решений, как отражение или, скорее, как второе измерение идеи *власти* по Фуко.

В состязании уравниваются общественные традиции и конкурирующие взгляды на них, образуя состязательный баланс. В таких зрелых политических систе-

мах, как, например, западно-европейские государства (ведь они действительно зрелые, вопрос только в том, не перешло ли это созревание в фазу перестоя), сложившееся историческое равновесие мешает людям разглядеть, что суть всего происходящего заключается в состязании. Теперь, когда оно втиснуто в более строгие рамки конкурирующих взглядов (не в самую последнюю очередь в силу соображений «хорошего тона» (*comme-il-faut*), контроля со стороны ближайшего окружения и привитых хороших манер), аргументы становятся все более и более изощренными в ограниченном спектре разногласий, — т.е. в ситуации, когда основополагающие аргументы, на которые есть общее согласие, формируют рамки возможного, того, что считается приличным, следовательно, рамки состязания аргументов, и поэтому конкурирующие аргументы настроены на нюансы, которые уже не так заметны, поскольку они существуют в обществах, где состязание начинается заново, на пустом месте, как это происходит, например, в сегодняшней России, и это особенно верно в отношении России десятилетней давности. Беда в том, что в Советском Союзе были попорчены традиции прошлого и отсутствовала конкуренция во всех сферах общественной жизни (именно отсутствие конкуренции было в большей степени проблемой, чем собственно идеология). После распада советского государства Россия оказалась перед дилеммой — ей предстояло приложить все силы к построению максимально возможного благополучия в обществе даже без потенциальной опоры на традиции своего же прошлого и без возможности напрямую воспользоваться исторически накопленным мировым передовым опытом. — Тем не менее, на сегодня Россией пройден огромный путь, и будет справедливым отметить, что она *обрела* время, приобрела достаточно знаний и опыта, чтобы заслуженно считаться демократической страной сре-

ди других демократий в мире, где всем обществам предстоит еще пройти долгий путь для достижения идеала демократического соревнования.

Демократическое соревнование означает *демократическое* и *соревнование* на каждом уровне, от отдельного человека до наций (государств). Во всех обществах, во всех политических системах имеет место демократическое соревнование, как везде существует и экономика, но так же, как только рыночная экономика может быть успешной. Так и с демократией — только в условиях свободного (от всяческих ограничений) демократического соревнования может проявляться настоящая демократия. При этом соревнование должно быть свободным, равным для всех, каждому человеку должна быть предоставлена возможность высказывать свое мнение на равных условиях. Конечно же, это идеал, как представление о «совершенном рынке» в экономике. Но, несмотря на то, что мы называем его идеалом, это не значит, что мы не должны к нему стремиться, и мы действительно можем приблизиться к реализации цели обеспечения для всех права равного голоса и равных возможностей быть услышанными, — может быть, со временем в конце исторического пути, на который ступило человечество, лишь небольшое (возможно, всего лишь пара-тройка аспектов) будет отделять нас от этого идеала. Расстояние между современной реальностью и идеалом можно сократить благодаря целенаправленной работе политического руководства по устранению препятствий к свободному состязанию во всех социальных областях. Этот процесс можно ускорить за счет применения неких законов об обеспечении конкуренции в широком смысле, вроде антимонопольного законодательства, знакомого нам по экономике, но на этот раз применительно ко всем областям общественной жизни, чтобы влиять на все стороны бытия, на все обще-

ственные отношения, где особенно остро стоит вопрос о свободном состязании в связи со злоупотреблениями господствующим положением в обществе. — В идеальной состязательной демократии будут действительно равные возможности и равное право голоса для каждого конкретного человека. *Конкретный человек* — вот о чем идет речь: суть демократии в отдельно взятых людях, взаимодействующих, ведущих дела друг с другом в обществе; с другой стороны, между государствами (нациями) всегда существует неравенство и не может быть ничего, кроме неравенства. Государства суверенны, но не все государства оказывают одинаковое влияние на внешний мир, — да и не могут оказывать — просто потому, что государства — это не родовые образования, «государства» — это исключительно правовые конструкции, историческое развитие которых шло своим собственным путем и в соответствии со своими правовыми традициями, они занимают территорию разной величины, расположены в несравнимых между собой зонах с разным климатом и различными по составу и структуре природными ресурсами. Все это приводит к формированию совершенно разных условий жизни, появлению разных проблем и возможностей; у них разная численность населения, этнический состав, языки и культуры. Государства — это связки, правовые конструкции, отбирающие и фиксирующие условия жизни, характерные для каждого конкретного народа (или народов в многонациональных странах) в конкретных условиях, и ничего, кроме определенных ритуальных поверхностных представлений, не заслуживает сравнения одного государства с другим. — А эти проблемы запутываются и усложняются самым основным ритуальным представлением, а именно самим термином «государство», ведь пока между «государствами» есть только схожесть и различия, как в семейном сходстве, упо-

требление термина «государство» формирует в вещном сознании людей представление о том, что имеют место быть некие фиксированные сущности, ведущие себя, как люди, и похожие на людей; так и получается, что и ученые, и журналисты говорят о государствах так, словно они и в самом деле люди, наделенные сознанием и волей. Вот почему журналисты могут сказать, что «Финляндия поддерживает Эстонию», «Европейский Союз должен выступить с единым мнением», «Россия не права» или «США не разделяют озабоченность России...», или «Великобритания требует отпечатки пальцев любителей пива». — Государства не являются родовыми образованиями, конкретными образцами какого-то одного вида, они, скорее, похожи на правовые конструкции, на нечто, сравнимое с юридическими соглашениями, регулирующими однотипные спорные вопросы, но при всем том по-прежнему остающимися частными по отношению к каждому конкретному случаю, как, например, два юридических соглашения о приобретении отдельной недвижимости, по одному из которых семейство Смитов приобретает дом в Лондоне, а по другому семейство Вессонов приобретает дом в Глазго. В этом случае мы можем сказать, что оба соглашения касаются покупки дома, и не важно, насколько одинаковыми они могли бы показаться юристу-правовику, для семейств Смитов и Вессонов в них нет ничего похожего, ибо семейство Смитов не может въехать в дом, находящийся в Глазго, а Вессонов — в дом Смитов в Лондоне. При этом продавцам дома в Лондоне нет абсолютно никакого дела до того, что творится с домом в Глазго, условия этих соглашений не имеют ничего общего друг с другом, но все же правовед может отметить, что оба соглашения подсудны британскому законодательству, — и будет в этом тоже не прав. Можно слегка изменить наш пример и сказать, что в другом случае дом куплен семейством Буланже в Париже, и тогда от сход-

ства ничего не останется, за исключением научных нестыковок и несуразностей. — Государства, как и юридические соглашения по разным вопросам между самыми разными сторонами, не могут входить ни в какие симметричные отношения друг с другом, значит, отсутствует то самое неперемное условие демократического соревнования, состязания между равными отдельными людьми. — Государства являются проявлениями демократии в отношениях между людьми, но как таковые не могут быть субъектами демократического соревнования. И более того, именно по этой причине идеал демократического соревнования призван служить образцом, — хотя и не механизмом, — организации эффективного международного сотрудничества между государствами: монополистическая конкуренция в многополярном мире без какого-либо социального, культурного, идеологического и экономического влияния, оказываемого сложившейся гегемонией.

БЫТУЮЩИЕ АКАДЕМИЧЕСКИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕМОКРАТИИ

Большинство образованных людей знает, что слово «демократия» происходит от греческого слова «demokratia», что, по всей вероятности, является производным слов «demos» — «народ» или «регион» и «kratos» — «власть», «управление» и «сила», что сводится к представлению о *власти народа*. — Впрочем, эти древнегреческие слова не то чтобы очень проясняли суть демократии, они не дают ответа на вопрос, что нужно для того, чтобы власть народа стала реальностью. Нам придется доискиваться до

истинного смысла где-то в другом месте и задаваться вопросом, что же традиционно в идеале означала демократия в историческом разрезе и что она должна означать в идеальном варианте. Удачным началом в наших поисках является определение, данное в словаре Мерриам-Вебстер¹: «форма власти, при которой верховная власть принадлежит народу и прямо или опосредованно осуществляется им через систему представителей, как правило, предусматривающую периодическое проведение свободных выборов». (Следует заметить, что при таких критериях Европейский Союз должен первым вылететь из членов клуба демократий.)

Некое подобие прямой демократии было создано во многих греческих городах-государствах, примером может служить крупнейший из них — Афины. В Афинах к числу демократических институтов относились законодательное собрание (именуемое — *demos*), суд, и своего рода исполнительный совет (буле) в составе 500 человек, отвечавший за подготовку законопроектов для обсуждения собранием, осуществление руководства проведением его заседаний, а в некоторых случаях по указанию собрания за исполнение закона. Эти 500 человек — только мужчины — выбирались по жребию среди *свободного* мужского населения старше 30 лет, а в Афинах не все мужчины относились к свободному населению.

В сказанном выше отмечалось, что в Афинах, система которых столь мила сердцу как идеальный образ демократии, половина населения исключалась из процесса, потому что не принадлежала к сильному полу, а еще масса других людей исключалась потому, что находилась в рабстве у *свободных мужчин-демократов*. Таково было общество, где подавляющее большинство, или около 85% жителей, были отлучены от политической власти самым

¹ Перевод сделан из англоязычного словаря Merriam-Webster.

жестоким и бесчеловечным способом, и поэтому мы должны задаться вопросом, как же вообще можно вести речь о какой-то демократии при таких условиях! И вот мы и вправду видим, что демократии в Афинах не было, правда, не было и авторитарного самовластия одного деспота, диктатора или короля, но было недемократическое правление горстки занимающих привилегированное положение людей. Так что отметим, что, в конечном итоге, «демократия» вовсе не досталась нам от древних греков, что мы, по существу, не получили от них ничего, кроме этого красивого слова *демократия*, слово, как слово, в которое можно вложить любое содержание, если только оно взято из достаточно авторитетного и влиятельного источника. Мы видим, что даже в самой основе того, что и поныне считается колыбелью демократии, лежит фикция, вымысел. Несмотря на то, что в афинской политической системе, безусловно, были некоторые достойные всяческой похвалы черты передового представительного правления, она не идет ни в какое сравнение с большинством правительств в сегодняшнем мире. А это означает еще и то, что нам нужно чуть более скептически относиться к истолкованию прошлого и далеко отстоящих от нас традиций; мы можем относиться к афинской демократии как к историческому курьезу, некоей диковине, но не как к модели демократии. Мы можем уважать достижения древних афинян при изучении их традиций в контексте указанных обстоятельств. И именно этот «контекст указанных обстоятельств» нужно всегда иметь в виду, давая оценку традициям любой другой страны, другой культуры, иметь в виду, что их традиции отличаются от наших, а наши от их, что мы можем неодобрительно смотреть на привычки других, но ведь и другие тоже могут с неодобрением относиться к нашим, и что рано или поздно наши потомки будут дивиться, какими же примитивными были мы и наша социальная практика. Да, мы не достигли совер-

шенства, мы пока даже не приблизились к нему. Очевидно, что одни системы лучше других, очевидно, что у некоторых народов сформировалась более передовая социальная практика (в некоторых сторонах жизни), но все достижения должны измеряться в контексте условий конкуренции данной страны, степени продвижения к относительному процветанию, ее экономического потенциала, условий безопасности от внешних врагов, монополизации экономики, декриминализации, развития судебной системы, воспитания ответственных, некоррупцированных и профессиональных журналистов (не говоря уж о некоррупцированных поддерживающих свободу владельцев медийных корпораций), политических традиций и т.д.

АФИНЫ НЕ БЫЛИ ИСТОРИЧЕСКИМ ИСКЛЮЧЕНИЕМ

Древнегреческая система управления преподносится нам как «колыбель демократии». Такое мнение распространено прежде всего благодаря богатым литературным традициям, позволяющим считать культуру древних греков (античную культуру) неотъемлемой частью западного культурного наследия, и это не в последнюю очередь благодаря влиянию Римской империи и католической церкви, а позднее также университетам и европейской системе среднего образования. — В более совершенном мире влияние греческой культуры заслуженно получило бы лишь малую толику из всего того, что приписано ей академическим сообществом и задающими тон европейскими университетами. Поэтому нашим учителям и ис-

торикам следовало бы чаще обращаться к истории, изучать все богатство культурного наследия самых разных европейских народов, не говоря уже о великих мировых цивилизациях.

Издавна у многих других народов управление обществом строилось на принципах общего принятия решений и равноправия. К примеру, в обществах, восходящих к нордическим и германским традициям, существовали народные собрания, играющие руководящую роль в решении споров и принятии политических решений, так называемые *тинги*. *Тинг* представлял собой собрание свободных людей страны (представляющих сотню семей). По существу, *тинги* образовывали сеть, в которой местные *тинги* получали представительство в *тинге* более крупной территории, провинции или земли. В *тинге* улаживались споры и принимались политические решения. *Тинги* проводили регулярные встречи, осуществляли законодательную власть, выбирали лидеров (вождей, королей), а также вершили суд по законам, передаваемым в устной традиции общества в системах, демонстрирующих ту стабильность общества, которую англосаксонские ученые мужи называют верховенством закона (*rule-of-law*). — В Киевской Руси до монгольского нашествия во всех городах существовало демократическое городское собрание под названием *вече*. Все свободные граждане мужского пола принимали участие в вече, созывавшемся для обсуждения важнейших дел в жизни города и принятия решений, например, по вопросам войны и мира, принятия законов, провозглашения или смещения правителей.

Мировая история изобилует свидетельствами существования различных форм демократического правления, которое, по всей видимости, является некоей исторической нормой. При этом антропологи по-прежнему приводят кучу других примеров, свидетельствующих о том, что большинству культур свойственно стремление к установ-

лению политических систем общего принятия решений, которые можно считать демократическими (во всяком случае, по тем меркам, с которыми подходят к оценке афинской системы).

Но все-таки даже сегодня мы до конца не знаем, что же на самом деле должна означать «демократия». «Демократия» похожа на массу так заботливо хранимых нами мысленных образов, на идеи, которые в своих мыслях мы считаем «вещами» и холим и лелеем в своем сердце, на восприятия, к которым мы питаем любовь, мысленно протирая и наводя на них лоск, например, время от времени привнося в представление о демократии то чуть-чуть Афин, то чуть-чуть Монтескье, на восприятия, которые мы очень уважаем и горячо защищаем, хотя при этом остаемся в неведении относительно их сути, истинного смысла восприятия или понятия, не осознавая, что все, что у нас есть, — это слова, которые в действительности образуются, как и галлюцинации, только в уме и вмещают в себя основную информацию, содержащую наши самые священные моральные и патриотические пристрастия. — Только мысленно понятие демократии навеивает образ известного помпезного здания на Капитолийском холме, «Большого Бена», лондонской Часовой башни в Вестминстере или улыбающегося премьер-министра Тони Блэра рядом со своей жизнерадостной женой Чери, позирующих в дверях, выходящих на Даунинг стрит, 10... В современном понимании демократии мы не намного ушли вперед по сравнению с этими мысленными картинками, так сильно напоминающими наклейки с изображением любимых героев волшебных сказок, которые собирают и которыми обмениваются маленькие девочки, совсем как ученые мужи, обменивающиеся мнениями о Монтескье, или как г-н Баррозу, любующийся мысленным образом демократии, которая, на его взгляд, является вещью, своего рода мячом, перебрасываемым европей-

скими дипломатами друг другу, которую они стремятся экспортировать и навязать менее удачливым, с их точки зрения, странам, а также народам, проявляющим меньшую способность к глубине восприятия, коей они, по их собственному мнению, уже достигли.

ЕВРОПЕЙСКИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ МОЛОЖЕ БАБУШКИ Г-НА БАРРОЗУ

Так сколько же лет европейским демократическим традициям? Очень немногие задумываются над тем, насколько, по сути дела, недавно появилось на свет такое явление, как современная европейская демократия. О европейской демократии говорится так, словно *она* существовала там всегда, по крайней мере, со времен Платона и Аристотеля, по существу же, она не старше бабушки г-на Баррозу. Все, что напоминает критерии, предъявляемые людьми к демократическому правлению (в смысле свободного и равного голосования), установилось только с наступлением 20-го века. Распространение избирательного права на всех граждан, — которое можно считать своего рода испытанием на прочность представительной демократии, — произошло еще позднее: Австралия — 1901 г., Финляндия — 1906, Норвегия — 1913, Германия — 1918, Великобритания — 1918 (или, возможно, 1928), Швеция — 1921, Франция — 1948, Греция — 1952 г. Это всего лишь несколько примеров. Не забудьте еще и о годах фашизма и войнах, на десятилетия прервавших демократический процесс, и тогда вы по-настояще-

му сможете оценить молодость явления, о котором мы ведем речь. — К тому же в этом контексте забавно слышать, как европейская толпа в Европарламенте (*который не является всего лишь говорильней*) и на других собраниях интеллектуалов, мнящих себя политической элитой, твердит о том, что «русские никогда не научатся демократии, они всегда испытывали потребность в твердой руке...», — как будто несколько десятков лет демократического опыта (*проб и ошибок*) могут существенно изменить что-либо в масштабах истории. И при этом забывается, что даже в годы марксизма Россия была гораздо более передовой страной, чем кто-либо из них, — имеется в виду, исходя из их собственных ценностей, не моих. В 1917 г. Россия сделала выбор в пользу претворения в жизнь того, что было «с пылу с жару», самой передовой социальной модели, рекомендованной большинством ученых из европейских университетов, — марксизма, который даже сегодня большинство евродепутатов все еще с благоговением воспринимает как идеальную утопическую модель общества. — Я предлагаю евродепутатам просто взять себя в руки, трезво взглянуть на факты, крепко потрудиться над возвращением ЕС на демократическую орбиту и обрести уверенность в том, что россияне могут сами без всякой посторонней помощи или вмешательства позаботиться о собственном благополучии, претворить в жизнь то, что народы России по своей свободной воле выбрали в 1991 г.

ЭТО — ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

В этой книге я рассуждаю о демократическом соревновании, рассматриваю идеи, на примере которых хочу

показать, что на самом деле *демократия* является составной частью того, что означает человеческое общежитие, частью извечных исканий ради ухода от боли и получения удовольствия, социальной практики, сформировавшейся в процессе состязания аргументов. Демократия — это определенное общее политическое восприятие всех сторон социальной практики, относящихся к совместному поиску удовольствия, которое являет собой дорогу, вымощенную болью и страданием.

Вернемся к определению демократии в словаре Мерриам-Вебстер: «форма власти, при которой верховная власть принадлежит народу и прямо или опосредованно осуществляется им через систему представителей, как правило, предусматривающую периодическое проведение свободных выборов». Таково определение «*представительной демократии*», вопрос в том, кто приходит к управлению «официальными руководящими органами». — Моя главная задача — помочь осознать, что это только одна сторона медали или одна сторона кубика Рубика, одна сторона умственной головоломки. — Уже первый поставленный вопрос невероятно сложен, он затрагивает такие моменты, как: «что такое честные выборы?», «у всех ли есть равные возможности стать кандидатами?», «роль руководящих органов», «большинство против меньшинства». — «Большинство» и «Меньшинство» пополняют ряды метафизических сущностей. Похоже, люди полагают, что может быть одна сущность, называемая «Большинством», и другая сущность, называемая «Меньшинством», и что сущность «Большинство» складывается из людей, разделяющих одни и те же взгляды и ценности по всем и каждому аспекту жизни, а соответственно «Меньшинство» составляет меньшее число людей, которые однако же единодушно выступают против тех самых идей, которые поддерживает «Большинство». — Но в действи-

тельности нет никакого большинства и меньшинства, есть только миллионы людей, непрестанно выражающих миллионы мнений по всем аспектам жизни, и все эти миллионы мнений выливаются в бесконечные вариации, связанные с миллионами их предпочтений. Можно выявить большинство или меньшинство только в отношении того или иного вопроса, но даже при этом самое большее — только на тот момент, когда возникает данный вопрос.

Под демократией имеются в виду не только выборы и выдвижение кандидатов, демократия — это повседневность, каждодневная забота о делах всех и каждого. — В традициях марксистов и социалистов было утверждение, что система выборной демократии (которую они именовали «либеральной или буржуазной демократией») является составной частью капиталистической классовой системы, и, следовательно, она не является, да и не может быть полностью демократической или представительной демократией. По их утверждениям, при буржуазной демократии политическая власть находится в руках только крупных финансовых воротил. — Эта критика не так уж далека от истины, и, хотя в этой книге я не намерен касаться дел той поры, ее альтернатив и итогов, следует заметить, что буржуазные демократии и их сторонники доказали свою правоту в отношении социалистов. Однако так или иначе с критикой социалистов следует считаться и изучать ее, чтобы изложить исчерпывающее представление о демократическом соревновании. Это напоминает одну из ситуаций, описанных Прустом в «Поисках утраченного времени», когда он утверждает, что «одно и то же сравнение может быть ложным, если из него исходить, и истинным, если им завершить»¹.

¹ Пруст М. В поисках утраченного. Обретенное время. Амфора, 2006. С. 272.

В этой связи нам лучше совсем вывести Европейский Союз за рамки дискуссии просто потому, что для начала его вряд ли можно назвать демократией. ЕС — это конфедерация государств, управляемая дипломатическими соглашениями с большей или меньшей степенью прозрачности (на мой взгляд, *с меньшей*). Цель ЕС — воссоздание в Европе экономико-военной мощи империи в духе Священной Римской империи. Перед европейскими политиками стоит задача создать фасад ее демократической законности. Проект имперской конституции свидетельствует о том, что ни о какой демократии в ЕС даже не может быть и речи, поскольку любому здравомыслящему человеку ясно, что конституции — это документы для регулирования отношений между людьми, а проект Европейской конституции составлен для регулирования отношений между метафизическими сущностями под названием государства. Государства не могут быть сторонами, участвующими в конституции, как раз наоборот — конституции людей создают государства. Пытаясь устроить обсуждение такой подтасовки, создать некий демократический ореол вокруг этого проекта, в тексте проекта конституции местами упоминают реально существующих, живых людей, словно украшают комнату цветочными композициями или добавляют перец в приготовленное блюдо для придания ему особого вкуса и аромата (поперчить людей перед употреблением). — ЕС даже потенциально не может стать демократическим государством, государством, управляемым на основе демократических выборов и процедур, однако складывается впечатление, что главные архитекторы новой империи даже и не ставят такой цели. Напротив, по моему мнению, ЕС спроектирован теми, кто вынашивает идеологию единого мирового правительства, мира, управляемого единой всемирной элитой. По сути, мы видим, или, скорее, нам не дают увидеть, —

мы можем только догадываться, — но мы должны узнать, — какие группы интересов оказывают влияние на принятие решений в ЕС, кто стоит за всем этим. — Хотя в глаза бросается одно: голос хозяина раздаётся из лондонской The Financial Times.

СОСТЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРАВОСУДИЕ

Истинно демократическая система включает в понятие демократии, в демократическое соревнование состязательное правосудие. Состязательное правосудие — это понимание права как системы состязания аргументов, происходящего ежедневно во всех областях жизни человека.

Недостаток состязательной демократии и свободы и неадекватная работа всех остальных состязательных составляющих общества приводит к неутешительным итогам в осуществлении правосудия (а такое положение дел складывается сейчас практически во всем мире — любое представление о высшей справедливости и правосудии на Западе существует только благодаря сравнению со странами, где ситуация и того хуже). Взывать к правосудию и справедливости может только конкретный человек (при этом, естественно, животным должно быть гарантировано гуманное обращение со стороны человека).

Что бы мы ни называли правом, речь идет о нормативных выражениях и толкованиях, взаимодействующих при производстве правосудия. Иллюстрацией может служить сравнение права и правосудия с медициной и охраной здоровья. Итак, я утверждаю, что суть права должна заключаться в развитии и совершенствовании справедливости, точно так же, как суть медицины — в сохране-

нии и укреплении здоровья. При этом я хочу подчеркнуть, что господствующие правовые теории (ошибочные теории, против которых направлена моя критика) — и прежде всего англо-американские теории, которые слишком уж сосредоточены на прецедентах, создаваемых верховными судами, — можно сравнить с представлением о том, что сохранение здоровья является (исключительно) делом рук хирурга в операционном зале (как если бы право осуществлялось только в суде). В противоположность такой идее я подчеркиваю, что состязательное правосудие — это непрерывный процесс, происходящий между всеми людьми всегда и во всех сторонах жизни. В самом праве к двум важнейшим компонентам состязательного правосудия относится состязание нормативных аргументов в суде (всех уровней) и нормативных аргументов в политике, причем последние заканчиваются формированием сильных нормативных аргументов, называемых законодательными актами или законами. И то, и другое — составляющие состязательного процесса, далекие от совершенства. Главное, что мешает людям понять истинную природу права и правосудия и сдерживает свободное состязание аргументов, связано с тем, что бытует крайне низкий уровень представления, люди просто не понимают, не видят, что право, *суть* просто *состязание аргументов*, находящее отражение в социальной практике с вытекающим отсюда ментальным заблуждением, заключающимся в принятии господствующего примитивного старого антропоморфического взгляда на право, трактовании права и норм права с лингвистической и ментальной точки зрения как неких вещных сущностей (ошибочное представление, под влияние которого они подпали из-за путаницы, связанной с тем, что слова грамматически позиционируются как *существующие вещи*, способные в сочетании с определяющим словом служить подлежащим, исполнителем действия, агентом).

Между судами и «законодателем» (парламентом и иными «суверенами») происходит постоянное соревнование за право создавать сильные нормативные аргументы (или, по их словам, «давать законы»). В Соединенных Штатах это признается в правовой теории и на практике, а в Европе делают вид, что все совсем не так. Само состязание между судами и «законодателями» служит основой становления нормально функционирующего общества, и именно к такому положению дел должно стремиться любое общество. — Честное признание этого продвинуло бы вперед дело достижения правосудия и справедливости, а это — конечная цель жизни в обществе.

В структурах европейского парламентаризма по-настоящему не существует никакого разделения властей. По существу, в Европе законодательная и исполнительная ветви власти — это одно и то же. В Соединенных Штатах, напротив, эти ветви власти разграничены: исполнительная власть, т.е. президент, избирается народом, правительство, т.е. его аппарат, назначается президентом, а законодательная власть, т.е. Конгресс, избирается отдельно. — Европейский бренд парламентаризма, когда тоталитарная власть сосредоточена в руках парламента, приводит к ситуации, которую можно назвать если не монополией, то, по крайней мере, «злоупотреблением господствующим положением на рынке», и, следовательно, это ведет к искажению правосудия и бросает вызов основополагающим жизненным условиям, вызов самой жизни. — Для продвижения демократии в Европе упор в демократическом процессе необходимо сделать на прекращение в странах ЕС монополии парламента на власть и приложить все усилия к восстановлению демократического соревнования.

Важнее разделения исполнительной и законодательной власти является разграничение полномочий между

законодательной и судебной властью. Нормативное удушье, обусловленное отсутствием состязательности в парламентской демократии, можно преодолеть, только гарантируя истинно независимое правосудие. Судебная система должна быть независимой, чтобы иметь возможность оспаривать любые сильные нормативные аргументы парламента (так называемые «законы» или «законодательные акты»), — суть дела в том, что во многих странах даже в позитивном (т.е. формальном) праве это признается по конституции (но судьям не хватает смелости возражать парламента и открыто выступать на стороне правосудия). В Соединенных Штатах судебная система и законодательные органы поставлены в условия более открытого и естественного состязания.

Подлинное решение заключается в предоставлении судебной системе реальной независимости и получении ею мандата от народа, но без прямых выборов отдельных судей. Разрешения дилеммы между демократическим контролем и независимостью судебной системы можно будет достичь за счет образования выборной общественной судебной палаты, в ведении которой находились бы некоторые фундаментальные вопросы касательно судебной системы и которая не подчинялась бы никому, кроме народа.

LAISSEZ-LAISSEZ-FAIRE

На мой взгляд, коммунистическое государство является экстремальной формой монополистического капитализма, при котором весь капитал формально сосредоточен в руках народа, но *de facto* находится в руках узкого круга правящей элиты. Соответственно, идея неограниченного монополистического капитализма очень тесно смыкается с идеей коммунистического государственного

капитализма. Обе одинаково вредны. И для наведения порядка в восприятиях я предлагаю заменить слово «капитализм» словом «рыночная экономика» во всех случаях, когда речь идет о системе немонополистической демократической рыночной экономики. «Капитализм» же лучше оставить как слово с уничижительным смыслом для обозначения неуютной и губительной системы, противоречащей интересам демократического общества.

Свободную либеральную рыночную экономику было принято называть *laissez-faire* до тех пор, пока этот термин не превратился в уничижительное слово для описания чего-то обозначающего «необузданный капитализм», хотя позднее сторонники социалистической плановой экономики стали применять штамп *laissez-faire* для обозначения любой системы свободной экономической деятельности, и они настолько в этом преуспели, что теперь не осталось почти никого, кто осмелился бы выступить в защиту принципа *laissez-faire*, который, в конечном итоге, служит просто обозначением основополагающей экономической реальности, да и не только, — это фундаментальная характеристика всех видов социальной практики.

Laissez-faire означает «позволить делать» (в экономике это означает свободную конкуренцию, политику невмешательства государства в экономику), и, по моему разумению, это расшифровывается как «предоставить людям полную свободу заниматься своим делом так, как они считают нужным». Или «Не мешайте! Не вмешивайтесь в выбор людей, и все обернется к лучшему». И, конечно же, эта свобода составляет фундамент экономики, ибо свобода — первооснова всей человеческой деятельности. Критикуя идею *laissez-faire*, забывают о том, что экономика функционирует не в пустом пространстве, что она — составная часть всех других общественных отношений, например, общественной деятельности, кото-

рая подразумевается под терминами «право» и «политика». Право и политика сами по себе налагают ограничения на экономику, и поэтому экономика как таковая, несомненно, не нуждается ни в каких дополнительных ограничениях. — Дотошный читатель заметит, что в приведенных выше рассуждениях я оказался в затруднении, обусловленном языком вещей; я вынужден пользоваться вещной грамматикой, вещной терминологией, указывать, с одной стороны, на различия, с другой, на взаимозависимость между «правом», «политикой» и «экономикой», но все же мы должны учитывать, что прежде всего это не разные «вещи», а только восприятия тех же самых видов социальной практики, рассматриваемых с разных точек зрения. Тем не менее, имея в виду это обстоятельство, в политике, мышлении, теории мы должны помнить, что «экономика» есть восприятие «хорошо работающего механизма», и наша задача — обеспечить продолжение безотказной работы этого механизма и не вставлять экономике палки в колеса больше, чем это уже происходит при ее перегруженности массой соображений, обусловленных правом, политикой и проблемами охраны окружающей среды. — Критики не осознают, что проблемы в экономической сфере и обществе в целом были совсем иными во времена появления на свет идеи под вывеской «laissez-faire», а возникшие позже проблемы оказались неоправданно запутанными и отождествленными с первоначальной идеей laissez-faire, идеей свободы.

Напротив, находящуюся под угрозой свободу, экономическую свободу надо не ограничивать, а углублять. Но экономическая свобода, как и все остальные проявления свободы, означает активную борьбу за обеспечение ее условий, а условия свободы являются условиями обеспечения равных возможностей. В экономике это означает, что все имеют равные возможности для ведения свое-

го дела при отсутствии давления монополий, поэтому в экономике свободная конкуренция означает борьбу с монополиями и со всеми, кто злоупотребляет своим господствующим положением на рынке. Сегодня опасности и вызовы связаны с беспрецедентным ростом монополизации всех сфер хозяйственной деятельности. Осознание этой угрозы и противодействие ей становятся настоятельной необходимостью для свободной экономики и свободных людей. Поэтому мне хотелось бы переименовать понятие, передающее идею экономической свободы, в «laissez-laissez-faire» (с двойным «laissez»), где еще одно «laissez» указывает на идею активного и постоянного противодействия всем злоупотреблениям, связанным с использованием господствующего положения на рынке, и монополиям в целях неизменного обеспечения возможности для демократически равной конкуренции в экономике. Тогда этот термин будет означать: «быть уверенным, что все могут конкурировать на равных условиях».

ЧАСТНАЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Время от времени, размышляя о том, каковы же наиболее важные характеристики нашей социальной практики, будь то искусство, мораль, право или что-то другое, я осознаю, что в конце пути всегда возвращаюсь к идее состязания. Под каким бы углом мы ни рассматривали нашу общественную жизнь, как бы ни разворачивали все ее стороны, нас никогда не покидает мысль о том, что состязание есть общий знаменатель всех видов социаль-

ной практики (когда в них наступает застой, общим знаменателем становится отсутствие состязания). По моему убеждению, движущей силой *развития* (или *перемен*, если мы хотим употребить слово с не столь положительным подразумеваемым значением) является только состязание — хотим мы того или нет. Идея состязания служит также основной скрытой причиной, которая привела меня к формулированию постулата философии социальной практики: нет никакого иного знания, кроме отраженного в социальной практике как результат того, что делается людьми; ни у кого нет доступа к некоему высшему знанию по сравнению с другими людьми в том смысле, что это может привести к положительным сдвигам в глобальном масштабе. Знание, или то, что мы считаем знанием, — исключительно продукт состязания, и тогда совокупность социальных практик есть проявление состязания в общественной сфере. Хорошо организованное общество — это общество с развитой социальной практикой, в котором сложилась обстановка динамической стабильности — *стабильности* в смысле предсказуемости и последовательности — и *динамической* в смысле поэтапных и постепенных перемен. Хорошо организованное общество — это не общество, в котором с математической точностью применяются геометрически выстроенные модели субординации. Скорее, это такое общество, где достигнуты успехи в улучшении условий состязания во всех областях жизни, где бесконечные вариации в процессе состязания настраиваются на относительную синхронность, — ведь конечной целью свободного состязания аргументов и потенциально возможной реальности могло бы стать состояние полной гармонии.

Исходя из этих соображений, я предлагаю осовременить взгляд на классический либерализм с учетом нового видения двух главных сторон этой идеи: *первая* касается

отношения к *частной собственности*, а *вторая* — отношения к *монополиям в экономике*.

Классический либерализм стал источником почти религиозной веры в идею о том, что вся собственность должна находиться в частных руках, игнорируя при этом необходимость бороться с пагубным влиянием монополий. Как всегда отрицая всяческие господствующие идеи, не подкрепленные реалиями, я, вопреки этой классической идее, выступаю в защиту *преимущества* частной собственности, *но одобрительно отношусь* к общественной собственности на стратегически значимые ресурсы и компании. Мы все согласны с тем, что обычным делом считается, когда общей собственностью могут владеть два человека, а также когда она может находиться в руках 5, 10, 100 или нескольких тысяч собственников, и так далее. Но если мы признаем общую собственность тысяч людей, то я не вижу никакой причины, по которой мы должны отвергнуть идею выступления в роли владельца общими активами государства как выгодоприобретателя от имени всего народа (это можно сравнить с любой формой доверительного управления). Например, природные богатства в виде ключевых энергоресурсов и других природных богатств можно максимально использовать в интересах народа, если они принадлежат народу через государственные компании.

Я подчеркиваю, что, на мой взгляд, в большинстве случаев монополии представляют собой аномалии, которым следует давать отпор, но я также признаю, что иногда складывается положение, когда монополии могут сыграть положительную роль, например, когда не остается другого выбора, кроме как примириться с существованием естественных монополий. В случаях, когда монополии нет альтернативы, становится очевидным, что государственная монополия предпочтительнее частной, — на-

много предпочтительнее, когда люди сообща выступают в роли собственника через государственные компании, чем когда горстка частных лиц приобретает огромное влияние на общество в силу того, что они являются владельцами монополистических корпораций, или олигополий.

ГОСУДАРСТВО И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Некоторые сторонники классического либерализма традиционно скептически относились к реальной демократии и судили о ней как о некоем коллективистском идеале, суть которого состояла в оказании содействия массам в объединении и обретении самостоятельной роли в форме государств, тогда как сами либералисты были озабочены ограничением власти государства над отдельным человеком. Идея *демократического соревнования* ведет к исчезновению этой дилеммы; когда мы осознаем, что демократия — *это не вещь* и что суть демократии в бесконечности соотношения сил между всеми людьми в обществе, т.е. в постоянном соперничестве (а в идеале в поистине свободном состязании), то понимаем, что между отдельным человеком и государством не может быть конфликта интересов как такового, ведь отдельно взятый человек — живая реальность, а государство — это просто метафизическое понятие (его нет), предназначение которого — установление пределов и юридическое обустройство отдельных сторон жизни массового объединения людей. В рамках *демократического соревнования* государство — просто нормальная правовая среда для приведения в порядок и регулирования общих дел, а каждый

конкретный человек вовлечен во все стороны обсуждения и решения общих дел в меру своей личной заинтересованности в демократическом *соревновании*.

Сегодня модно рассуждать о *гражданском обществе*; похоже, в этих разговорах предполагается наличие антагонизма между государством и гражданским обществом. Это простое противоречие свидетельствует о степени институционализации традиционной демократии и растущего дистанцирования демократического процесса от граждан. В то же время политические партии стали выглядеть просто-напросто корпорациями на избирательном рынке, средствами для проведения предвыборных кампаний, заинтересованными только в завоевании своей доли на рынке электората, забывая о реальных заботах граждан. При демократическом *соревновании* антагонизма между этими двумя представлениями не существует. Государство является просто высшей формой проявления гражданского общества; в рамках демократического *соревнования* граждане принимают участие в различных видах демократической деятельности, в том числе в тех, которые закоснелые формы институционализированных демократий вынуждены отторгнуть, как нечто чужеродное для срежиссированного ими демократического действия, и отнести к категории «гражданского общества».

Итак, понятно, что традиционно «демократия» ассоциируется исключительно с выборами, представительством, собраниями и т.п. Разумеется, все это составляет часть демократии, но это всего лишь лежащие на поверхности характеристики демократии наших дней. В конечном итоге, суть демократии — это власть народа по принципу: равные права — равные возможности, и при этом конкретная форма правления и порядок демократического участия в нем могут значительно колебаться от государства к государству. В конечном счете, демократия —

это состояние такого общества, где все имеют равное право голоса, и голос каждого действительно принимается в расчет. — И вот тут-то возникает проблема: как убедиться в том, что голосу каждого отдельного человека действительно придается одинаковое значение? — Опыт показывает, что попытки решить эти проблемы, просто периодически собирая народ у избирательных урн для голосования, не убедившись в наличии максимально возможных условий для демократического соревнования, несостоятельны, ведь выборы исполняют свое назначение только тогда, когда все являются равноправными участниками демократического процесса. — К сожалению, сегодня при упоминании демократии речь больше не идет о том, как нация организует принятие решений в своем содружестве, сегодня «демократия» скорее используется в качестве троянского коня, когда мало кому известные силы пытаются всеми способами пробраться в государственную власть, используя не совсем устоявшиеся традиции и слабости нации. — Путь Гитлера к посту канцлера Германии сродни въезду внутри троянского коня пропаганды и махинаций. — Беда России в том, что противники открытого общества (иногда даже прибегая к двойному обману, именуящие себя «Открытое общество») неизменно используют таких троянских коней для нападок на ее молодую демократию, извлекая выгоду для себя из всех трудностей, стоящих на пути России к достижению процветания, справедливости и стабильности фактически на пустом месте, образовавшемся после распада Советского Союза. — Есть много разных темных лошадок, в т.ч. из числа иностранных держав, которые, пользуясь слабостью молодого общества, хотят прибрать страну к рукам под той или иной личиной троянского коня, чье громкое название относится к словарному запасу демократической риторики.

На мой взгляд, в недавно выдвинутой доктрине *суверенной демократии*, сформированной при нынешнем российском руководстве, признается этот факт и опасность манипулирования молодой демократией противниками открытого общества. Поэтому мои симпатии, разумеется, на стороне этой доктрины. В моем понимании цель идей, связанных с *суверенной демократией*, — в российском контексте — принять меры против тех же угроз, которые бросают вызов свободному *демократическому соревнованию* во всем мире.

ВРАГИ ОТКРЫТОГО ОБЩЕСТВА И ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ

Идеал демократии состоит в том, что каждый голос имеет значение в равной степени, изо дня в день. Это идеал, но никак не реальность. В действительности демократические свободы людей ограничены хищническими устремлениями картелей и монополий, картельными сговорами, разного рода отклонениями на рынке общественных отношений, злоупотреблениями, связанными с господствующим положением в обществе. Мы хорошо понимаем, что означает обеспечение конкуренции в области экономики, получила широкое признание точка зрения на необходимость ограничения власти монополий с целью обеспечить нормальную работу экономических рынков. И я стремлюсь перенести это на остальные виды социальной практики (или все остальные общественные отношения). Следовательно, нам нужно осознать всю серь-

езность воцарения разного рода незаконных и недобросовестных социальных практик, сговоров, опасной концентрации средств массовой информации, парламентаризма монополистического толка, исторически сложившегося преобладания каких-то нескольких партий, идеологий и хищнических действий, направленных на то, чтобы снизить соревновательный накал и активность демократического соревнования. Необходимо воспитывать антимонопольное мышление во всех областях жизни: в политике, религии, науке, СМИ и т.д. — Целью политики должно стать устранение всех препятствий на пути к установлению свободного демократического соревнования при полном равенстве в отношении каждого человека. Так, например, владелец любого центрального СМИ должен быть отлучен от своих сверхполномочий, чтобы его власть не превосходила власти всех остальных граждан. В Европе особое значение будет иметь принятие мер против парламентаризма, чтобы бороться с этим извращением демократии.

Все подобные отклонения на рынке общественных отношений являются проявлениями действий врагов свободного и открытого общества, противников демократического соревнования. Чтобы понять, о чем идет речь, приведу перечень некоторых основных препятствий, которые необходимо преодолеть:

1. Экономические монополии.
2. Политические монополии.
3. Злоупотребления СМИ, нечестная журналистика и монополярная концентрация средств массовой информации в руках горстки людей, злоупотребление свободой слова («лицензия на ложь»).
4. Пропаганда — заклятый враг открытого общества, — развернутая монополизированными СМИ и разного рода темными лошадками, специализированными пропагандистскими организациями.

5. Засилье идеологии.
6. Засилье религии.
7. Бедность.
8. Низкий уровень образования.

В Соединенных Штатах для регулирования процедуры выборов действует в принципе прекрасно составленная конституция, составляющая правовую основу состязательных выборных процессов. В книге «Выражения и толкования» рассмотрены преимущества этой системы. Однако в отношении выборных процессов есть другие затруднения; конституцией обеспечивается формальная база демократического соревнования, но все участники процесса должны действовать в рамках системы свободной конкуренции, однако же в нынешних Соединенных Штатах дело обстоит совсем не так. Сегодня негативные социальные последствия деятельности монополий наносят удар по прописанной в конституции системе состязания. В данном случае речь идет о монополии на власть, которой добились для себя ведущие партии — Республиканская и Демократическая. Вследствие этой монополии обе партии уже больше не являются выразителями истинно демократической воли народа. Их скорее можно считать политическими маркетинговыми корпорациями, полностью прибранными к рукам карьеристами, действующими скорее как члены правления этих корпораций, причем там многие из ведущих политиков занимают высокие посты по наследственной линии, как, например, в клане Бушей; конгрессмены и сенаторы выступают в качестве лоббистов, продающих свои услуги за деньги (как в профессии, которую я не считаю древнейшей), а пропагандистская машина и подконтрольные ей СМИ удерживают эти партии у власти при любых условиях. Несмотря на то, что на ранних этапах становления американской демократии эти партии сыграли благотворную роль, сей-

час они фактически ограничивают свободный выбор электората, превратившись в своеобразные аппараты постоянного сговора по ограничению истинной свободной демократии. Поэтому, на мой взгляд, для спасения американской демократии (с учетом важности этого вопроса для всего мира) и защиты общества (да и всего мира) от недобросовестных социальных и выборных практик необходимо вернуть состязание в американский политический процесс, и это должно быть сделано с помощью средств, аналогичных методам и средствам, которые можно использовать для свертывания деятельности и роспуска занимающих монопольное положение в экономической сфере корпораций как незаконно действующих монополий. Что касается этих двух монополистических партий, то их следовало бы распустить за монополистический сговор против народной воли, суживающий свободу демократического выбора народа и препятствующий честному политическому процессу. Ибо когда две партии более сотни лет занимают такое несокрушимо командное положение и влияют на избирателя, то возникает та самая олигополия, которую мы можем отнести к более широкой категории высшей точки общественного зла, то есть монополиям. Обществу крайне необходимы антимонопольные законы, направленные против партий, обладающих монопольной властью, чтобы гарантировать честную игру в политике и равные условия для демократического соревнования. Только с помощью таких средств можно создать возможность для выражения конкурирующих мнений и взглядов, для участия всего народа в демократическом процессе на равных условиях.

Проблемы, связанные с монополией и другими формами злоупотребления господствующим положением на рынке, носят особенно критический характер в отношении СМИ. Средства массовой информации представля-

ют собой новую сверхструктуру сегодняшнего мира, и, по моему убеждению, концентрация собственности на СМИ в руках все более узкого круга людей представляет собой самую большую угрозу для демократии во всем мире и, следовательно, для всего человечества. Проблема приобретает все более острый характер в отношении англо-американских медиа-групп при их глобальном размахе (когда одна или несколько господствующих медиа-корпораций оказывают влияние на большинство западных стран). Эти корпорации установили фактический контроль, — я бы даже сказал, цензуру, — над западным образом мышления. При помощи, казалось бы, неограниченных пропагандистских махинаций СМИ захватили контроль над демократическим процессом в большинстве стран Европы и Северной Америки. — И складывается впечатление, что эти медиа-группы обратили идею свободы слова в *лицензию на ложь*.

Большинство из нас согласится с тем, что свобода слова является важнейшим условием соревнования, которое, в свою очередь, является главной предпосылкой демократии. Но, как и всегда при употреблении тех самых сакральных кодовых слов, никто не дает себе труда задуматься над тем, в чем же все-таки суть свободы слова, никто не задается вопросом, какие предпосылки должны быть созданы (каковы необходимые условия) для превращения в жизнь того явления, которое мы называем свободой слова? Поэтому я предлагаю поразмыслить над этим, убедиться в том, что для реализации свободы слова, как и других свобод человека, надо создать реальную возможность для ее воплощения: свобода слова похожа на свободу мысли, у каждого есть свобода думать, и, в конце концов, никто не может ограничить мысль как таковую. — Хотя, конечно, на свободу мысли среди всего прочего может быть наложено и непрерывно накладыва-

ется ограничение не в последнюю очередь именно теми же самыми средствами массовой информации; любая информация несет в себе ограничение, любая информация имеет определенный «привкус», и сам язык заражен ложной информацией и заблуждениями минувших лет (в нем это закодировано). По сути дела, в этой книге и книге «Выражения и толкования» затрагивается именно эта проблема, самая глубинная, всепроникающая проблема жизни. И также хочу заметить, что я, конечно, понимаю, что есть и определенные силы, занимающиеся в разной степени конкретным, личностным промыванием мозгов мужчин и женщин, и это, безусловно, ограничивает свободу мысли. Но в этой связи я говорю о мышлении в самом широком смысле, я отметил, что *мышление само по себе* едва ли может быть ограничено. Я говорю обо всем этом потому, что дело не в том, ограничивается свобода (говорить, мыслить) или нет, а дело в необходимости иметь реальные возможности для выражения своих мыслей на равных условиях одного человека с другими. Свобода слова должна означать, что у каждого человека есть реальная возможность открыто высказать свою точку зрения. И именно этого-то и нет в современном мире, в т.ч. и в западных странах, из-за того, что СМИ находятся в руках очень узкого круга владельцев. Это проблема, которую я называю монополизацией средств массовой информации. Ведь дело в том, что фактически несколько медийных корпораций, контролирующих западные СМИ, также контролируют и свободу слова на Западе. Становится необычайно трудно пробиться с высказыванием несогласия, при этом западные СМИ перешли от задачи простой подачи и распространения информации к пропагандистской работе по формированию мнений и манипулированию мыслями. — Для реализации свободы слова необходимо соблюдение двух условий: отсутствие каких-

либо активно устанавливаемых ограничений на высказывание своего мнения, причем у большинства людей нет никаких проблем с пониманием хотя бы этого, но им не удается осознать такую же необходимость в соответствующем доступе к трибуне. При таком понимании, или, скорее, недопонимании природы свободы слова представление о ней превратилось в своего рода лозунг для консолидации собственности на средства массовой информации в руках все более узкого круга корпораций, постоянно упрочивающих свое положение на рынке (фактически получающих лицензию на ложь). — Подлинная свобода слова будет означать, что на самом деле обеспечен реальный доступ и возможность выражать свое мнение, обозначать свое несогласие. Для претворения этого в жизнь нужны соперничающие и плюралистические СМИ, — соперничающие и плюралистические СМИ, где журналисты будут неусыпно следить за тем, чтобы появлялись конкурирующие мнения, оспаривающие преподносимые истины (судя по западному опыту, мне это кажется нереальным). В конце концов, *свобода слова, как и все остальное, это состязание аргументов*. Поэтому первейшим критерием свободы слова является недопущение доминирующего положения какой-либо медийной организации нигде и ни на одном языке. Однако сегодня в большинстве стран мира ситуация далека от идеальной и, вне всякого сомнения, гораздо хуже, чем сто лет назад, когда выход на рынок нового печатного органа был относительно прост, и ни одна корпорация не оказывала решающего влияния на читателей. Однако же сегодня на самом деле на Западе, бравярующей своей *зоной свободной прессы*, существует реальная монополия или в лучшем случае олигополия в каждом географическом регионе, в каждом языковом ареале и в каждом крупном городе при наличии лишь одной или нескольких господствующих медиа-организаций, и, таким образом, эти организации смогли взять

на себя роль полиции свободы слова (ведь у них же на вооружении лицензия на ложь).

Телевидение по-прежнему остается главным инструментом формирования мнений, поэтому особенно важно обеспечить его свободу от разлагающего влияния монополий. С другой стороны, телевидение, невзирая на все технические возможности, по природе своей таково, что в любом месте может быть только один, два, в лучшем случае три варианта выбора вещательной компании. Следовательно, телевидение всегда имеет тенденцию к образованию естественной монополии. При наличии естественных монополий мы обязательно оказываемся перед выбором — передать контроль какому-то частному монополисту или же коллективному общественному монополисту, представленному государственной корпорацией под соответствующим общественным надзором, и опять-таки, с учетом вариантов выбора, гораздо предпочтительнее оставить телевидение под контролем общественности. — Нам не нужно отказываться от государственной собственности, а следует направить свои силы на развитие демократических механизмов, гарантирующих обеспечение плюрализма; в числе таких гарантий я вижу осуществление диверсифицированного и построенного по принципу ротации управления вещательной компаний и — это следует выделить особо — контроля, независимого от любого парламентского большинства.

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ

Демократию следует трактовать как состязание аргументов, мнений, и следует понимать, что для того, чтобы это состязание было демократическим, оно должно

происходить на равных условиях между равноправными людьми, без какого-либо влияния монополий и злоупотреблений привилегированным или господствующим положением на рынке. Свободному демократическому соревнованию необходима поддержка конкурентного социального окружения, конкурентоспособная социальная практика во всех сторонах жизни, обеспечение базовых условий экономического процветания в целях гарантии истинных возможностей участия в демократическом соревновании в качестве просвещенных граждан.

Несмотря на все вышесказанное по поводу необходимых элементов и условий для развития демократии, есть одна даже еще более важная и принципиальная составляющая — это время. — В конце концов, после всех утверждений о том, чем является демократия и чем она не является, мы возвращаемся к ключевому моменту в философии, в социальной науке о том, что демократия, как и все восприятия, есть не что иное, как имя, присвоенное нами определенным видам социальной практики, это социальная практика, рассматриваемая нами с точки зрения власти. И касаясь этого вопроса, мы должны иметь в виду, что наша идея — это достижение равенства между всеми людьми, и что все равные люди будут обладать правом, и не только правом, но и реальной возможностью оказывать воздействие на властные отношения на началах равноправия.

Сегодня нам выпала удача жить в мире, где принцип равноправия, по крайней мере, получил широкое признание, правда, он нечасто соблюдается на практике. Складывается впечатление, что люди считают равенство делом эмоций, вопросом вкуса — кому-то нравится, кому-то нет. Но я испытываю потребность в опровержении подобных рассуждений об эмоциональности и хочу прямо сказать, что *равенство — факт биологический*. Доказа-

тельство равенства кроется в фактах биологии человека. По сути, каждое человеческое существо есть существо биологическое — каждое появляется на свет в одинаковых биологических условиях, является продуктом одной и той же биологической эволюции, имеет одинаковые биологические и физические потребности и обречено на один и тот же процесс постепенного угасания — и имеет такую же потребность бороться с этим угасанием, цепляться за жизнь — и каждому из них суждено проиграть эту битву и уйти из жизни. Каждый человек имеет одинаковое право пройти этот жизненный путь, сделать его в силу своих возможностей удачным и счастливым и встретить смерть не от руки другого человека. — И в этом все необходимое нам доказательство равенства, и, значит, демократии.

Социальная практика является проявлением исторических процессов, результатом исторического развития, продуктом времени. При этом добросовестная социальная практика, которую нам, — или тем, кто придет нам на смену, — следует считать достойной похвалы, заключается в традициях, рождающихся в процессе мирного, постепенного развития в стабильном обществе, открытом для иностранного влияния на условиях взаимного уважения и без каких-либо манипуляций и ухищрений. Так что только с течением времени появятся социальные практики, которые мы именуем демократическими традициями, представляющими собой продукты неограниченного демократического соревнования, развивающегося в правильном направлении (я говорю о «направлении», а не о существующем равновесии, ибо мы должны иметь в виду, что о демократии, как и обо всем в жизни, следует судить только в относительных понятиях, в данном случае в сравнении с традициями прошлого, нынешними условиями жизни в обществе и тенденциями общественного развития).

Опыт стран бывшего советского блока показывает, что очень трудно создавать демократию на пустом месте, что отсутствие демократических традиций ведет к своего рода политической лотерее. При отсутствии традиций и демократического прошлого избиратель лишен возможности сделать взвешенный выбор, ибо смысл политического выбора нельзя вывести дедуктивным способом из случайных фактов и эпизодов, это можно сделать только исходя из совокупности накопленного опыта. Поэтому достоинства каждого кандидата, каждой партии следует рассматривать только в контексте традиционной работы политической системы в целом, прежней деятельности каждой партии, деятельности каждого отдельного кандидата, реальных возможностей страны на данном этапе развития и т.д. Так, только на фоне накопленного опыта можно оценить потенциал конкретного кандидата или политической программы. — К тому же каждому избирателю нужно разобраться, в какой степени новый парламент или новое правительство вообще способны влиять на жизнь общества. При зрелой демократии существует сложившееся негласное истолкование основообразующих условий. Однако в контексте новой демократии в отсутствие традиций избиратель, по всей вероятности, проголосует просто на эмоциях, из чувства разочарования и бессилия, будучи не в состоянии определиться со своим выбором; он, скорее, проголосует в знак протеста против действующего руководства, каким бы оно ни было, — протест ради протеста, ведущий к взлетам и падениям демократии, ставшим бросающейся в глаза особенностью всех восточно-европейских стран переходного периода. — Роль политических партий имеет решающее значение, как в хорошем, так и в плохом смысле, — для политической системы западных стран; там партии постепенно превратились в главную опору системы; традиционная

приверженность какой-либо партии сродни приверженности вере; этот характерный признак в значительной степени вызывает затруднение (служит помехой для обсуждения достоинств, ведет к злоупотреблению господствующим положением на рынке и т.д.). Но ведь это те самые характерные признаки, которые обеспечивают стабильность западным демократиям, поскольку большая часть электората при всех условиях поддерживает существующее положение дел, отдавая свои голоса традиционно избираемой партии, а неопределившиеся избиратели своим выбором просто влияют на направление демократического процесса на сложившейся политической сцене. В России отсутствует эта особенность западных демократий, она не может не отсутствовать, поскольку, хотим мы этого или нет, в советской России была только одна партия — коммунистическая. Поэтому России необходимо найти другие способы обеспечения важнейших особенностей, свойственных западным демократиям, стабильности, рождаемой исторической приверженностью какой-то одной традиционной партии. — Необходимо напомнить читателю, что путь, пройденный в течение тех 200 лет, которые занял процесс формирования партийной системы на Западе, был весьма ухабистым и кровавым. В России в настоящее время идет крайне интересный процесс реализации проекта — проекта становления стабильной демократии в короткие сроки, избегая повторения кровавых ошибок, через которые прошли Европа и Соединенные Штаты.

Отсутствие демократических традиций делает общество и электорат особенно уязвимыми для прямых нападок со стороны тех, кто стремится манипулировать ни в чем не повинным обществом, воспользовавшись слабостью традиций. Эти силы действуют с помощью групп влияния и пропагандистов, которые, подобно педофилам,

пытаются совратить молодое общество, осыпая свои жертвы знаками внимания, подарками и грантами, соблазняя их демократической риторикой, и, подобно педофилам, эти пропагандисты используют свой опыт в таких ухищрениях в обществах, которые они считают проблемными. Сначала они стараются завоевать доверие самых слабых членов этих обществ, притворяясь их друзьями, затем выделяют нескольких избранных вожаков, на чувстве собственного достоинства которых они начинают играть и которых, подобно пешкам в шахматной игре, подводят к мысли о том, что с помощью торговцев пропагандистской наркотой они могут сделать мат всему обществу. И, завоевав доверие, такие пешки превращаются в добровольных пособников этих социальных педофилов, готовящих наступление на сообщество. Они исходят из стратегии господствующего влияния СМИ и обманчивой риторики, с помощью которых они пытаются поставить общество на колени; наконец, не осознавая ничего, кроме пропагандистских посылов, хищник мертвой хваткой вцепляется в общество, наносит удар и пытается подвергнуть свою юную жертву политическому и экономическому насилию с особой жестокостью. — Значит, ради своего будущего любое общество должно защищаться от духовного насилия под названием пропаганда (а превращение духовного насилия в физическое — это всего лишь вопрос времени; по сути дела, собственно разница между духовным и физическим насилием — этого только вопрос степени, а возможно, они являются лишь сторонами одного и того же). И поэтому общество должно защищать себя от пропагандистского насилия, как мужчина защищает себя и свою семью от любой формы насилия. Общество должно защищаться независимо от того, откуда и кем совершаются пропагандистские атаки — национальными медиа-олигархами, особыми пропагандистски-

ми группами (нередко действующими под маской благотворительности и других возвышенных целей), тайными лоббистами, иностранными спецслужбами, международными медиа-монополиями и т.п.

ВОТ ОН — ТРЕТИЙ ПУТЬ!

Демократическое соревнование — вот тот знаменитый третий путь. Но это не тот путь, который обычно искали, сворачивая налево от центра, это, скорее, сведение воедино всех тропинок, которыми пойдут люди в мирном немонополистическом обществе, где налажено идеальное соревнование, равное сотрудничество, и где властвует человек, причем каждый человек со всеми своими правами — здесь и сейчас.

БИБЛИОГРАФИЯ:

- Carter, W.C.* (2000). Marcel Proust: a life. Yale University Press. (Carter 2000).
- Eidinow, J., Edmonds, D.* (2005). Wittgenstein's Poker. Faber and Faber.
- Einstein, Albert.* (2000). The World As I See It. Citadel Press.
- Foucault, M.* (1996). The History of Sexuality. An Introduction. Volume I. Vintage Books.
- Hellevig, J.* (2006). Expressions and Interpretations. Our Perceptions in Competition. — A Russian Case. My Universities Press.
- Lévi-Strauss, Claude.* (1966). The Savage Mind. University of Chicago Press.
- Monk, Ray.* (1991). Ludwig Wittgenstein — The Duty of Genius. Penguin Books.
- Popper, K.R.* (1977). The Open Society and Its Enemies. Volume I: The Spell of Plato, Fifth edition revised 1977, Princeton University Press.
- Proust, M.* (2003). In Search of Lost Time Vol. VI: Time Regained. Modern Library.
- Пруст М.* В поисках утраченного времени. Обретенное время. Амфора, 2006.
- Proust, M.* (XXX). On Art and Literature. Carroll & Graf.
- Selden, R. edit.* (1990). Theory of Criticism. Longman Group UK Limited.
- Wittgenstein, L.* (1965). The Blue and Brown Books. Harper Torchbooks. («Blue and Brown Books»).
- Wittgenstein, L.* (1984). Culture and Value. Edited by Wright von, G.H. in collaboration with Nyman, H. University of Chicago Press.

Wittgenstein, L. (2004). *Philosophical Investigations*. Edited by Anscombe G.E.M., Anscombe, E. and Rhees. R. Third edition. Blackwell Publishing.

Wittgenstein, L. (2004). *Tractatus-Logico-Philosophicus*. Routledge, London.

Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М.: Гнозис, 1994.

Витгенштейн Л. Философские исследования. Кебридж, 1945, интернет-источник.

Йон Хеллеви́г

ВСЁ — ТВОРЧЕСТВО:

О социальной практике и толковании чувств.

О демократическом соревновании

Издательство «Зерцало»

Лицензия № 004730 от 29 марта 2001 г.

(495) 689-75-36; (495) 689-72-45 (факс); e-mail: laton@mail.ru

Подписано в печать 18.09.2008. Формат 84×108/32. Бумага офсетная.

Гарнитура «PetersburgC». Печать офсетная. Усл. печ. л. 7,5.

Тираж 1000 экз. Заказ №

Отпечатано с готовых диапозитивов в ППП «Типография «НАУКА»
121099, Москва, Шубинский пер., 6